

**СЕРГЕЙ
АЛЕКСЕЕВ**

МАТЕРИК

Сергей Алексеев

Материк

«Алексеев Сергей»

1987

Алексеев С. Т.

Материк / С. Т. Алексеев — «Алексеев Сергей», 1987

«Материк» населен разными персонажами – вымышленными и самыми что ни на есть настоящими. Только вот отличить одних от других не всегда удается. Сказка оборачивается таежной былью, а быль уступает место чуду. «Нет на Руси старинного города, где бы не жила легенда о человеке, который пробовал летать», и у многих это получалось, ведь главное чудо – сам Человек. Потому в повестях Сергея Алексеева – автора знаменитой серии приключенческих романов «Сокровища Валькирии», лауреата премии имени М.А.Шолохова – и прекрасная дева обернется медведицей, и деревенский мужик такую меленку поставит, что даже в безветрие крыльями махать будет, а на берегах далекой сибирской реки зазвонит под талой водой струна беккеровского рояля...

© Алексеев С. Т., 1987

© Алексеев Сергей, 1987

Содержание

Часть первая	5
1	9
2	22
3	27
4	33
5	39
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Сергей Трофимович Алексеев

Материк

Памяти матери моей Валентины Алексеевны Русиновой

Часть первая

Жил-был вятский мужик Меренька. Родителей Меренька рано схоронил и остался один-одинешенек. Лежит он день и ночь на печи и все думает, как тяжело ему да тоскливо жить на белом свете. А пока думал, корова во дворе от голода изревелась, конь все ясельки изгрыз, курочки, так те совсем легонькие сделались, поднялись на крыло и улетели. Однажды Меренька слез с печи и надумал хозяйством заняться. Коровенку, чтобы не пасти, за баню затащил, где трава по пояс выдурила, коня на волю отпустил, забрал последнее яичко из курятника и снова на печь. Давно время жениться пришло, однолетки Меренькины по одному да по двое ребятишек завели, а Меренька придет на вечерку в дырявых портках, над ним все девки смеются. Настали холода, у Мереньки ни палки дров. Обрубил, обколол он все углы у избы да в печи стопил – не нагрелся. Доняла его все-таки избяная стынь, запряг Меренька коня и поехал в лес за дровами.

Вот едет он по лесу, а навстречу ему красна девица идет. Белая коса на груди лежит, до самой земли достает, глаза ровно небо, глянешь – дух захватывает, а статью-то лебедь, да и только. Идет – земли не касается, рукою взмахнет – того и гляди взлетит. Но одежда на ней – не лучше, чем у Мереньки: сарафан в заплатах, рубаха поизношена, как ситечко просвечивает.

– Чья-от будешь? – спрашивает Меренька, а сам глаз отвести не может. – И куда босая-то идешь?

– Сиротина я, – отвечает девица, – хожу по свету – горе мыкаю.

– Я тоже сирота, – говорит Меренька. – А зовут-то тебя как?

– Светлицей.

– Больно имечко чудное!.. Поехали со мной?

Поехали они вместе. Меренька выбрал подходящее дерево и стал его рубить. А топорик у него тупой был, хоть садись на него и до Москвы катись. Тюкал-тюкал Меренька, нарубил горсть щепок и перестал.

– Топор-от поточить бы, – говорит он, – ловчей бы дело пошло.

Взяла Светлица топор, и не успел Меренька оглянуться, как она дерево-то уже и срубила, потом на полешки расколола и в сани сложила. На вид-то она тоненькая, а проворная оказалась – Меренька диву дался. Приехали они в избу. Светлица печь затопила, воды нагрела и давай стирать, мыть да чистить все кругом. Корову подоила, соломки коню дала, а то он уж ворота съел и за стены принялся.

Вечером Светлица зажгла лучину, достала откуда-то иголку с ниткой и говорит Мереньке:

– Снимай портки, заштопаю.

Меренька залез на горячую печь, отдал портки, а сам лежит, смотрит, как Светлица заплаты ставит, и думает: «Вот заштопает она портки, надену и скажу, чтоб замуж за меня выходила. Податься ей некуда, а кто ее возьмет еще, сиротину-бесприданницу?»

Надел он портки и говорит:

– Выходи за меня замуж?

Она опять этак покорно головку свою опустила и руками косу перебирает.

– Согласная я...

И зажили они вдвоем, да не надолго. Вскорости Светлица первенца Мереньке родила – Улыбой назвали. А там пошло: что ни год – то прибавление, и все парнишки, белоголовенькие, синеглазые. Светлица как с зарею встанет, за день и присесть некогда. То на пашне ломит, то сено косит, то по дрова в лес поедет. Рученьки-ноженьки гудят, а не видно никому. Какая гулянка случится – Светлица и здесь первая. Если песню запоеет – народ-то вокруг будто онемееет: слыхом не слыхивали песен таких. Не жалостные они, однако же бабьи глаза пеленой затягивает, мужики вздыхают, а потом ходят как чумные. Плясать пойдет – каблучками пола не касается, ровно птица по кругу ходит. Кого крылами опахнет, тот без вина пьяный сделается.

– Экую красу Меренька взял, – стали говорить в народе. – Не гляди, что дрекомеля.

Меренька же грудь колесом и видеть никого не желает. А так все больше на печи лежит и думку свою думает, словно сахарную головку во рту держит. Парнишки-то по нему ползают, спину да пятки чешут, приговаривают:

– Тятенька наш, тятенька!

Поглядит Меренька на детишек и совсем растает:

– Экое диво, робенки-от мои! Ликом-то все на меня похожи!

– Вылитые, – соглашается Светлица, а сама глядит в сторону и улыбается, – похожи, как колоски на зернышко.

Настало время, когда в Меренькиной избенке совсем тесно сделалось, да и прохудилась она – ветер свищет.

– Надо бы избу новую поставить, – говорит однажды Светлица. – Пойдем, Меренька, лес рубить.

А Меренька давно заметил: как дождик пойдет на улице, так на печи сыро. Слез он, запряг коня, топоришко нашел – в лес собрался.

– Ты за братишками присматривай, – наказывает Светлица старшенькому Улыбе, – со двора их не пускай. Не ровен час – медведь набредет да утащит.

Избушка Меренькина на самом краю стояла, у леса, и медведи частенько наведывались. То курочку утащат, то корову напугают, а то и в овин залезут да снопы молотят. Улыбе-то к тому времени десятый годок пошел, большой уже парнишка, смышленный.

– Я, – говорит, – за братишками пригляжу. А коли медведюшка придет – вилами его.

Поехали Меренька со Светлицей в лес. Долго ехали, пока хорошего леса не нашли. Взял Меренька топор и начал дерево рубить. Уж он всяко махал да стучал, руки себе напрочь отвертел, а лесина стоит как стояла.

– Топор-от поточить бы, – говорит Меренька, – дело б иначе пошло.

– Дай-ко я попробую, – сказала Светлица, – авось у меня получится.

Не успел Меренька глазом моргнуть, а уж первое дерево на землю упало. За ним второе да третье. Дивится Меренька, затылок чешет:

– Экая проворная ты у меня! Ну, ты руби, а я отдохну маленько, притомился что-то...

Лег Меренька под дерево, любится на свою женушку, радуется: не побрезговал, взял сиротину бездомную – вот оно и окупилось сторицей. В доме достаток, парнишки – загляденье одно, а уж о самой Светлице речи нет.

«Теперь еще избу новую срублю, – думает, – и совсем хорошо будет».

Тем часом щепочка-то отскочила и прямо Мереньке в глаз.

– Ты потише! – осердился он. – Так и без глазу оставишь!

– Не кривись, Меренюшка, – покорно отвечает Светлица, – нечаянно я...

Задремал Меренька и слышит: топор все тише и тише стучит, однако деревья чаще падать стали. А потом и вовсе стук прекратился, и только лесины, слышно, о землю ухают. Долго ль, коротко ль спал Меренька, но когда проснулся – глядь: а лесу навалено! Три избы построить хватит. Поначалу-то деревья рубленные лежат, а дальше – с корнями повыдернутые. Светлицы же не видно нигде. «Эко баба разошлась, – думает Меренька, – отколь силы берутся!» Встал он,

потянулся – да и обмер весь. Медведь по лесосеке ходит и этак шутя деревья валит. Опомнился Меренька, одним духом на сосну влез и кричит оттуда:

– Светлица, где ты?

Медведь-то лапы отряхнул, лоб свой мохнатый утер и говорит Светлицыным голосом:

– Туто-ко я!

И подходит к сосне, на которой Меренька сидит. Меренька же от страха еще выше забрался.

– Слазь, Меренюшка, – говорит медведь, – обедать пора.

Тот же ровно и не слышит, обнял дерево и орет дурнинушкой:

– Светлица-а-а!..

– Вот она я, – смеется медведь Светлицыным смехом и морду вверх задирает. – Слазь, дурачок мой, поедим маленько да лес-от возить будем.

Зажмурится Меренька – вроде Светлица его говорит, откроет глаза – медведюшка...

– Слазь, – уговаривает он, – робенки-от наши заждались, поди, по тятке с мамкой соску-чилишь.

Опамятовался немного Меренька, сообразил, что чудо вышло либо колдовство какое. Лешаки с бесами да ведьмы с чародеями по лесу во множестве ходят...

– Светлица, поглянь, ты же в медведя оборотилась! – сказал Меренька и на землю спустился. – Как же я жить с тобой стану, колды ты лохмата до когтиста! Што люди-от про меня скажут?

Поднес медведь лапу свою к морде-то да как заорет! Да как заплачет! На землю упал, шерсть на себе дерет и ревмя ревет:

– Что же ты со мной наделал, Меренюшка? Была я Светлицей, а стала медведицей!..

У Мереньки мороз по коже, волосы дыбом. Конь захрапел, оторвал поводья и телегу по колоднику вдребезги разнес.

– Не стану я с медведицей жить, – говорит Меренька, – оставайся-ко в лесу да на люди не показывайся. Робенки-от наши как увидят – с вилами на тебя выйдут.

Как услышала Светлица-медведица о детях, так и встrepенулась вся. Взревела последний раз – грохот по лесу прокатился, птицы петь перестали – и побежала в сторону деревни.

«Ишо робят напужает», – подумал Меренька, взял топоришко и отправился следом.

Приходит он к своей избе, глядит – глазам не верит. На крылечке медведь сидит, а вокруг детишки хлопочут. Кто гребешком шерсть расчесывает, кто коготки на лапах обласкивает. Меньшой-то самый грудь сосет, причмокивает и улыбается. Чуть заметила Светлица-медведица мужика своего, Мереньку, облапила ребятишек и говорит:

– Тятка-то наш в лес меня жить отсылает.

– И мы с тобой! – заголосили дети и за шерсть ручонками похватались, будто за подол. – И мы с тобой, мамка!

– Какая же она мамка? – говорит Меренька. – Ваша мамка – Светлица. А это медведица.

Тут первенец Улыба схватил вилы и на тятку родного пошел.

– Уходи, – кричит, – откуда пришел!

Светлица же медведица подхватила парнишек, позвала Улыбу и в лес всех повела. Помелькали перед Меренькиными глазами их беленькие головенки и скрылись.

– Ну и ладно, – говорит Меренька, – а я на печь полезу.

Забрался он на печь, да лежать-то плохо: сверху каплет, с боков дует. Спустился тогда он на припечек да и нырнул в печь. Тепло ему там и сухо. Перед носом – горшок со щами. День лежит, второй. Когда ши-то подъял и в брюхе заворчал, чует – захотелось ему в рот что-нибудь положить. А близко нет ничего, рука только. Сунул ее в рот и давай сосать. Да вот беда, язык-то исцарапал. Поглядел Меренька на свою руку – батюшки! Лапа медвежья! И сам весь шерстью оброс.

– Ну вот, – говорит Меренька-медведь, – опять мы со Светлицей сравнялись. Пойду в лес искать, авось встречу еще раз.

Вылез он из печи, а тут собаки налетели и давай портки драть. Пока до лесу добежал – одни ремки и остались.

С той поры, сказывают, медведи поодиночке в берлогах лежат и от голода лапу сосут. Зиму-то лежат, а весной поднимаются и бродят вокруг деревень, высматривают. Подкараулит какой молодую девку – беловолосую красавицу – и в лес волокет. Не помнет, не поест, а только взаперти держит. Сам же ходит и ревет: спрашивает все, не Светлица ли? Голоса-то человеческого нету, а звериный рык где же девке-то понять? Ох и не стало житья девкам, особливо сиротинам, которым горе мыкать приходится!

Сказывают, с той же поры медведица-то одна в берлогу не ложится, обязательно старшенького с собою берет. Он и за младшенькими приглядит, и тятку, если тот наведается, прогонит.

Многие люди про медведей сказывают, да ведома ли им жизнь-то медвежья?

1

Трофейный беккеровский рояль привезли в Торбу на одной платформе с артиллерийским тягачом, тоже трофейным. Порыжелый от ржавчины, грязно-зеленый тягач согнали на землю, выкрасили и отправили его в лес на трелевку хлыстов. Однако года четыре трофейная машина ползала по торбинским лесосекам, соперничая с лошадьми и отечественными газогенераторными трелевочниками, пока внутри у нее что-то не сломалось. Запчастей к тягачу не было, и отлично сработанный немецкими инженерами вездеход с глубоко закрашенной свастикой стал ломтем железа и памятником послевоенной эпохи. Пройдет, наверное, еще лет пятьсот, а может, и больше, когда глыба стали превратится в прах, в ржавое пятно на желтом песке среди соснового бора. Как говорят – из земли пришло и в землю же ушло.

А беккеровский рояль сняли с платформы лишь через неделю. Затем месяц он стоял на станции, прикрытый обрезками горбыля, пока лесоучастовское начальство решало, куда его деть. Торба только еще строилась, и помещения, куда можно было затолкать черный ящик, пока не было. Наконец его погрузили на подводу, отвезли в центр поселка и поместили в сруб недостроенного клуба. Когда же клуб достроили, инструмент оказался прочно запертым в комнате, где разместились библиотека. Чтобы выкатить его, требовалось ломать стену...

Так и простоял он там весь остаток жизни, заваленный книгами, щербатый и по-стариковски желтозубый. Молодая, но отчего-то хилая библиотекарша тетя Фрося держала на нем плитку с чайником и два раза в день кипятила воду, наливала ее в грелку и привязывала к животу. Едва чайник закипал – из недр черного ящика появлялся едва слышный гул, чем-то напоминавший бульканье воды.

На этом рояле сыграли всего дважды за все его существование в Торбе. Первый раз играл лилипут из заезжих гастролеров. Мне тогда было семь лет, но ростом я уже был с лилипута, а оба мы – вровень с инструментом. На концерт мы приехали на лошади, которую привязали у клуба, а тулупы, чтобы их не стащили вербованные, занесли к тете Фросе в библиотеку. Так вот, когда мы вернулись за тулупами, я увидел лилипута совсем близко. Он стоял перед черным ящиком с лицом растерянным и по-детски изумленным.

– Боже! – восклицал он. – Ведь это беккеровский рояль! Вы понимаете?!

Тетя Фрося ничего не понимала и лишь смущенно пожимала плечами. Потом лилипут начал трогать своими маленькими пальчиками желтые зубы, и мне показалось, что в библиотеке заиграло радио: я не подозревал, что в черном ящике есть музыка.

– Нет-нет! Невозможно! – чуть не плакал короткий взрослый человечек. – Он расстроен. Он расстроен!

Рояль тащили из Германии в Торбу, чтобы приобщить лесорубов к серьезной музыке, однако народ в поселке собрался далекий от серьезности: вербованные (ныне их зовут приехавшими по оргнабору) да сосланные. Среди матюгов и блатных песен изредка проверещит плясовая на «хромке» – вот и вся музыка.

Второй раз играл тракторист Витька Жмых, одно время ухлестнувший за тетей Фросей. Он приходил из бильярдной, вежливо снимал фетровую зеленую шляпу и садился к инструменту. Играть, конечно, он не умел, однако черный ящик то грохотал, как бульдозер, то вдруг тоненько попискивал, и это тоже была музыка. Тетя Фрося сидела за спиной Витьки, и на бледном ее лице расплывался горячий румянец.

Отстояв свою эпоху, рояль очутился на улице. Ему обломали ноги, опрокинули на бок и вывезли таким образом за клуб. В тот же день киномеханик оторвал крышку на деке и соорудил в кинобудке шикарный стол. И не было в этом никакого варварства, ибо до самой кончины рояль оставался для торбинских жителей просто черным ящиком. Переживала лишь одна тетя Фрося, видимо, помня лилипута и Витьку Жмыха.

О том, что «музыка» лежит за клубом, я узнал от Ромки Войтекунаса. После уроков мы с ним побежали смотреть, что у ней внутри, однако ничего, кроме плоской железки и множества струн, не нашли. Был, правда, еще нестройный ряд деревянных молоточков с мягонькими, будто конские губы, наклейками.

– Чур – мое! – сказал я.

– Нет, мое! – возразил Ромка. – Я первый нашел!

Мы подрались, затем покурили бычков, найденных под танцплощадкой, и решили, что «музыку» лучше отдать мне. Тогда еще был жив мой дед – бондарь, столяр и от нужды кузнец, а у Ромки деда не было вообще никакого, а значит, и некому ремонтировать «музыку». Мы взяли по палке и стали играть. Ромка водил сучком от толстых струн к тонким, я – наоборот. Получалось здорово, особенно если вести медленно и слушать каждую струну. Они переговаривались по-человечески: Ром-ка, Ром-ка – Се-ре-га...

Наигравшись в четыре руки, я побежал домой, на Алейку, а Ромка остался караулить «музыку» от ее любителей. До торбинского лога я долетел одним духом, перешел его вброд, не снимая штанов, вылил воду из сапог и помчался дальше. Не тронутая лесовозами дорога мягко пружинила под ногами, в пустом весеннем лесу гулко пели птицы. В детстве-то дороги были длинные, поворотистые и белые-белые, как вытаявшее из-под снега холщовое полотно.

Дома меня не ждали, а поэтому обрадовались и испугались. Я закричал, что в Торбе выбросили «музыку» и что ее немедленно нужно привезти, однако отец солил рыбу и ехать за роялем не мог. Рыба лежала в ящиках скользкими грудками и от солнца вспухала, отчего брюшки ее лопались, истекая розовой икрой и жиром. Мать порола и пластала язей на дощатом столе, залепленном чешуей, и помалкивала.

– Нечего железо собирать, – сказала баба Ольга, – своего хламу навалом.

Отец поддержал ее и, всучив мне нож, велел пороть рыбу. Я встал рядом с матерью и, выудив из ящика толстолобного язя, скребанул ножиком неподатливую чешую. Блестки ее сыпанули слабо, но двоились, троились в моих глазах, и казалось, дождь чешуи опадает на землю. Сидевший на крыльце дедушка Семен, до этого безучастный, вдруг послал бабку крепко и определенно, затем выпрямил руками свою сухую ногу и заковылял в избу. Через минуту он уже торчал в окне и громко насвистывал: «Черный ворон...»

А чешуя все сыпалась и сыпалась из-под ножа, поблескивая и впитываясь в песок. Язь деревянно постукивал хвостом и не хотел чиститься.

– Ничего, Серега! – громко сказал дед. – Вода убудет, мы с тобой на рыбалку поедем!

Отец сортировал рыбу, подтягивал обручи на бочках, долбил обухом закаменевшую соль, и рубаха на его спине промокла до черноты. Мне же хотелось порезать себе палец, расхватить его до кости, чтобы все всполошились, забегали, притащили наиглавнейшее лекарство от всех болезней – йод, а потом бы отец обязательно съездил в Торбу и привез «музыку». Однако нож не срывался, а умышленно резать палец было страшно...

– Вечером я за хлебом пойду, – вдруг прошептала мать, – и мы привезем твою «музыку»...

Вечером мы пришли в Торбу, купили горячего хлеба в пекарне и стали думать, как нам везти «музыку». Материного брата дяди Саши Русинова дома не было, а попросить коня с телегой можно лишь у него. Дядя Саша работал начальником торбинского лесоучастка и распорядился всем, что было в селе. Наконец мы взяли ручную тележку у Чиженных и стали грузить «музыку». Сначала мы с матерью поставили ее на попу, затем подкатали тележку и опрокинули. Рояль так загудел и загрохотал, что из кинобудки выскочил киномеханик.

– Вы что делаете?

Киномеханик очень походил на актера из шпионских фильмов: худенький, берет, натянутый до ушей, усики шнурком и черные очки.

– Да вот... – растерялась мать, – хотели увезти домой.. Музыка...

Она глядела на «шпиона» чуть вприщур, часто моргала белесыми ресницами и виновато улыбалась.

– Вижу, что музыка, – сурово произнес киномеханик – Кто позволил? Рояль-то – моя!

Сердце у меня оборвалось. Я очень хорошо знал, как Виталик-киномеханик крутит уши «зайцам», выволакивая их из-под сцены, знал, что проси не проси, а без билета на сеанс никогда не пустит. Мало ему оторванной крышки, теперь всю «музыку» хочет зацапать.

– Моя музыка! – отрубил я и выступил вперед. Однако Виталик это пропустил мимо ушей и моего грозного вида не заметил. Он медленно снял очки и, отодвинув меня, подошел к матери. Смотрел он как-то странно: то ли ухмылялся, то ли улыбка без очков была у него такая. Одну руку он запустил в недра рояля и дергал толстые струны – бим-бом-м! Мать еще некоторое время глядела на киномеханика, но потом отвернулась и подняла оглоблю тележки.

– Поехали, Серенька, – сказала она.

Я ухватился за другую оглоблю, и мы покатали «музыку» по дороге. Виталик смотрел нам вслед, пока мы не завернули в колодезный проулок, и почему-то больше не кричал, что мы берем чужой рояль.

Виталика я встретил года три назад в поселке Белый Яр, где безуспешно искал Ромку Войтекунаса. Виталик здорово постарел, от шпионского вида остался один берет, может быть, все тот же, а может, новый так поизносился. Вместо очков под глазами висели синюшные мешки. Он остановил меня на узком тротуаре и приставил палец к груди:

– Ты, случайно, не торбинский?

– Алейский, – сказал я.

– Во, точно! – обрадовался Виталик. – А мать у тебя была белая и синеглазая!.. Вишь, помню еще...

Затем он сел на тротуар и обхватил голову руками.

– Эх, открыли бы снова Торбу – пешком ушел бы, уполз бы... – горестно проговорил он. – Какие люди были! А как жили хорошо!..

Я потоптался возле него и собрался уходить.

– погоди, – сказал Виталик. – Дай рубль?

Я все-таки рассчитался с ним за рояль, правда, спустя восемнадцать лет. И это была самая маленькая цена в мире, когда-либо уплаченная за известнейший беккеровский инструмент.

А тогда мы с матерью затащили тележку с «музыкой» в колодезный проулок и только здесь поняли, что дальше нам не уехать. Мы пробовали тянуть ее за оглобли, потом, развернув, толкали, но рояль перетягивал нас то вверх, то вниз и топил колеса в песке.

– Ну давай, сыночек! – приговаривала мать. – Ну еще немножко!

Она связала оглобли лямками от сидора и впряглась, я налегал плечом сзади – не помогло. Мы достали бадью воды из колодца, попили и сели отдохнуть.

– Еще раз попробуем, – сказала мать. – А уж тогда...

Тем временем к колодцу подъехал конюх дядя Миша Зпокосу – длинный, носатый хохол. Он напоил коня, поглядел, как мы барахтаемся в песке возле тележки, и подошел к нам.

– Чё це таке? – спросил он.

– С музыкой вот застряли, – засмеялась мать и утерла лоб. – Тяжелая музыка!

Дядя Миша Зпокосу обошел вокруг рояля, потрогал его стенки, клавиши, заглянул в нутро.

– Вин играе чи ни? – поинтересовался он.

– Играет! – сказал я и провел щепкой по струнам. – Слышишь?

Конюх прислушался и смахнул каплю, всегда висевшую на носу.

– Добре! – сказал. – Треба подмогнуть?

– Так нам на Алейку надо, – с улыбкой вздохнула мать. – Семь километров, далеко...

Дядя Миша Зпокосу развернул подводу и подъехал вплотную к «музыке».

– Грузи, тильки швидко! – скомандовал он.

Втроем мы едва завалили на телегу черную, гудящую глыбу «музыки», привязали ее веревкой и поехали. Дядя Миша Зпокосу устроился на передке, а мы с матерью забрались на роуль. Конь у дяди Миши был чудной и редкой масти – пегий. Он больше походил на длинноногую коровенку, чем на лошадь. К тому же задние ноги до самых копыт зимой и летом зеленели: пегаша часто прохватывало. Наверное, конюх мог бы запрягать себе лошадку получше, посправнее, однако почему-то всегда ездил на смешном, неуклюжем коньке. Да и сам дядя Миша сидел на передке смешно, неуклюже и печально.

Пегаш резво взял с места, затрусил тряской рысью, и «музыка» загудела, как гудят телеграфные столбы в ветреную погоду. Мы проехали мимо дяди Мишиного дома, откуда запоздало выскочила его жена и что-то закричала вслед: скорее всего, звала или спрашивала, куда это мы на ночь глядя, но конюх и головы не повернул. Гул в недрах черного ящика все нарастал, казалось, что гудит вся телега и мы с матерью и дядей Мишей тоже гудим. И тут вдруг конюх запел. Сначала тихонько замыкал под музыку, чуть распрямил сутулую спину под дождевиком, а дальше – больше: затянул во весь голос. Я не понимал украинского, но песня выходила печальная, похожая на гул черного ящика, и мне стало жалко дядю Мишу Зпокосу, его нескладного пегаша. Мать тоже загрустила: подвязала туже платок, опустила голову и начала ловить рукой сухие, прошлогодние былинки, что торчали по обочине. А мне еще вспомнилась библиотекаряша тетя Фрося, которая умерла от непонятной и диковинной в Торбе болезни – рака, и лилипут вспомнился, вернее, его отчаянное восклицание:

– Нет-нет! Невозможно! Он расстроен!..

И такие жуткие мысли загудели в голове! Я думал: нету теперь тети Фроси, скоро умрет дядя Миша Зпокосу, потом его пестрый конь – они оба уже старые... И мать моя когда-нибудь тоже умрет.

И я – умру.

Дядя Миша чуть ли не все лето пропадал на покосе за Четью и ездил в Торбу только на воскресенье. Он выезжал на берег позже всех покосников, уже затемно, и гулко кричал:

– Дайте лодку-у-у!

И вся округа просила: дайте лодку! дайте лодку! Отец выходил из избы, босой, в кальсонах, и спрашивал – кто там?

– Дядя Миша з покосу! – отвечал дядя Миша, перекрикивая всех коростелей и козодоев.

Отец распорядился мне сбегать и перевезти дядю Мишу. Я летел на берег, отталкивал лодку и широко махал лопашными веслами... Дядя Миша всегда платил мне за перевоз по десятнику. Деньги у него были казенные, выданные в подотчет, о чем он всегда предупреждал. Но самое главное, пока мы плыли через реку, дядя Миша играл мне на губной гармошке. Долгое время я считал ее чудом света, диковиной, которой владеют только самые счастливые люди. Ни у кого в поселке не было такой гармошки. Куда там все свистки и самодельные свирельки! Дядя Миша Зпокосу вынимал ее из кармана, выколачивал из блестящих отверстий махорку и другой карманный мусор, продувал каждый голос и «давал» плясовую.

– Це гопак! – объяснял он. Музыка была веселая, лихая, но дядя Миша всегда оставался хмурым, озабоченным и печальным. С таким же видом он пихал мне в ладонь казенный десятник...

Так бы и осталась гармошечка чудом, однако всю зависть одним махом развеял Ромка Войтекунас. Счастливый ее обладатель в сорок втором году сдался в плен немцам и три года отыгрывал себе жизнь на губной гармошке. Сначала под нее плясали эсэсовцы из лагерной охраны, потом американцы, которые освободили дядю Мишу...

Между тем «черный ящик» гремел еще пуще, отчего пегаш прибавлял рысь и только косился назад красным, кровавым глазом. Куда лучше играла губная гармошка! От нее хоть

весело было, пусть даже она – немецкая. А эта «музыка» – большая, тяжелая, черная и гудит страшно. Неужели она так и будет всегда играть? Может, она со времен лилипута совсем испортилась и для веселой не годится?..

– А ну, дядь Миша, давай что-нибудь повеселее! – неожиданно сказала мать. – Ты тянешь, будто заупокойную!

Дядя Миша осекся, покорно вздохнул, ссутулившись, и проронил:

– Можно и веселее...

Мать же сдернула с головы платок, встряхнула косами, отчего те как-то сразу распустились, рассыпались холстяной дорожкой.

Эх, да как по речке, да по водице
Сизый селезень плывет...

Мать взмахнула платком, подперлась руками и, не слезая с телеги, – показалось мне – в пляс пошла! И будто каблуками отстукивает, и ее высокая, под кофточкой, полная молока грудь (в то время младшенький Пашка грудничком был) так и вздрагивает, как у баб, что на гулянке на круг вышли и ну друг перед другом выплясывать! А тут еще мы песчаную дорогу по бору проехали – осинник пошел, ухабины и колдобины. «Черный ящик» растрясло, зазвенел он, заговорил, словно отцовская русская гармошка! Я сразу почувал, что никто никогда не умрет и что возле моего бока стоит сидор с горячим хлебом и греет сквозь одежду. Дядя Миша понужнул коня длинным рукавом дождевика, пегаш надал, и «музыка» еще четче и задорнее стала выводить:

Эх, да по речке, да по водице
Сизый селезень плывет!..

– Мабудь, и я зпою? – кого-то спросил дядя Миша. – Тильки свою, а?

Шляпа у него съехала набок от тряски, обнажив хилый, но кудрявый чуб, а капля оторвалась от носа и шлепнулась под телегу.

Ты ж мене пидманула, ты ж мене пидвела,
Ты ж мене, молодого, з ума-разуму свела!

Дядя Миша бросил вожжи и начал хлопать в ладоши. Руки у него были корявые, пальцы до конца не распрямлялись и стояли враспопырку, отчего хлопанье получалось жидкое, но все равно мне показалось, что дядя Миша Зпокосу пошел вокруг матери вприсядку. Пегаш надал ходу сам, без понуканий, и только зеленые от поноса ноги замелькали.

И странное дело: «музыка» подыгрывала матери и дяде Мише одновременно, – наверное, в ней хватало струн на все мотивы. И тогда мне тоже захотелось петь.

– Сизый селезень плывет! – заорал я. – По речке сизый селезень плывет!

Мать засмеялась, подмигнула мне зазывающе, но я смутился: подпевать ей у меня не получалось и музыку перекрикивал.

– Давай, Серенька! – подбодрила мать. Тогда я запел свою песню:

Куба, любовь моя,
Остров зари багровой!
Слышишь, поет под тобою земля,
Куба – любовь моя!

Эту песню (единственную) я знал наизусть и до конца. Мы пели ее на уроках пения, на школьной линейке, в классном хоре, в туалете и за мастерской, куда бегали курить. То была самая модная песня – на Кубе произошла революция...

Как здорово мы пели втроем! Пегаш чуть не выпрыгивал из оглобеля, вожжи слетели на землю и теперь волочились между колес. Черный ящик играл так звонко и лихо, что куда там этому лилипутику с его плачущими восклицаниями! Кто сказал, что он расстроен? Да он еще как настроен! Эх, жаль, умерла тетя Фрося! Вот бы послушала!..

Как ладно мы пели! Непонятные мне мужики с диковинным званием «барбудас» чекали шаг, и всей Кубе сразу становилось ясно, кто это идет. Тем более «вновь говорит вдохновенно Фидель: мужество знает цель!». Мужество знает цель! А какая-то девчонка – шмара дяди Миши – все обманывала его и подводила: то в среду скажет прийти, то в четверг. Дядя Миша Зпокосу ходит всю неделю, а шмары этой «нема», но дядя Миша все равно не обижается. Однако уж очень красиво получалось у матери, про сизого селезня. Я так и видел его, будто плывет он по Чети в самое половодье, а я на берегу, в скрадке, сижу с ружьем. Подплывает он ко мне, я прицеливаюсь, и – !!!

Так мы и не заметили, как домчались до лога. Заслышав нас, с писком взметнулись чирки, кувыркнулись и пропали в мелколесье. Пегаш галопом заскочил в воду, взбуровил ее грудью и, тяжело всхрапнув, ломанулся в оглоблях...

Дядя Миша запоздало царапнул пальцами то место, где были вожжи, и мы все разом замолкли. Только «черный ящик» немного еще гуднул и утих.

Опомнившись, мать схватила одной рукой меня, другой – сидор с хлебом и неловко взгромоzdилась на рояль...

Телега увязла как раз посередине лога. Вода переливалась через нее бурным потоком, отчего «черный ящик» тихонько пел.

Дядя Миша Зпокосу матерился без всякого акцента и драл пегаша сыромятным бичом. Мы с матерью соскочили с повозки и по пояс в воде перешли на другую сторону лога. Конь бесполезно сучил ногами в топком песке, пробовал пятиться назад, но только вылезал из хомута и придушенно храпел.

– Шоб згорела чертова музыка! – ругался дядя Миша и, оперевшись спиной, толкал телегу. – Шоб ее вовки зылы!

Пегаш, кажется, нащупал твердь и рванул чуть вбок. Оглобля хряснула ружейным выстрелом, дуга тут же упала на шею коня, а сам он, освобожденный, с пугливой поспешностью выскочил на сухое. Дядя Миша жалобно простонал и, вдруг поймав коня за узду, стал бить его по морде. Бедный пегаш танцевал, приседая на задние ноги, и смиренно клонил голову к земле.

– Ты что делаешь, паразит! – закричал я. – За что?!

– Молчи, сынок, – тихо проронила мать, – ты еще маленький...

Дядя Миша Зпокосу бросил пегаша и, забредя в воду, попробовал руками вытянуть телегу. Багровея от натуги, он поднимал задок, однако начинал тонуть сам, а повозка ни с места.

– Что же я стою? – спохватилась мать и бросилась на помощь. Мокрый подол ее платья облипал и путал ноги. На полпути она споткнулась и чуть не упала. У меня перехватило дыхание – утонет!

Она не успела добежать, как дядя Миша одним рывком столкнул «музыку» в воду. Черный ящик блеснул напоследок днищем со спиленными ножками и скрылся, выпустив огромный пузырь воздуха, будто опрокинувшаяся лодка...

Мы с матерью стояли у воды, пока дядя Миша Зпокосу не вытащил телегу и, кое-как связав сломанную оглоблю, не уехал назад в Торбу. Он сидел на передке, еще больше ссутулясь, а пегаш сам пошел в рысь, высоко забрасывая блестяще-белые, отмытые задние ноги. Поднятую со дна муть давно снесло течением, однако черная таежная вода лишь чуть просвечивалась. В

двух метрах от берега я видел бронзово-желтый песок, красные, полузамытые лесины утонувшей гати, но там, где исчезла «музыка», вода лежала толстым угольным пластом...

– Слышишь? – спросила мать, настороженно всматриваясь в черноту воды. – Слышишь, звенит!

Я прислушался. Вода и в самом деле, кажется, тихонько позванивала, но звон в ушах от обиды и горя был сильнее. Я заплакал.

– Эх ты, ревунчик, – сказала мать, выжимая подол платья, – и так сыро, а ты еще...

Она осеклась и выпрямилась. На другой стороне лога стоял дядя Миша Зпокоосу. Стоял один, без лошади, комкая в заскорузлых руках соломенную шляпу. Он троился у меня в глазах, и казалось, на той стороне стоит целый ряд печальных дядей Миш.

– Не плачь, хлопчик, – негромко сказали они. – Нехай она сгниет у болоте. Музыка-то немецкая, от германцев-фашистов привизлы.

– Сам ты! Сам ты!.. – сквозь слезы прокричал я. – А у тебя гармошка немецкая!

Дядя Миша расплылся и пропал в соленом тумане. Я уткнулся в мокрый материн подол и ощутил на своей голове ее руку. От руки исходил жар, но он не жег, а только согревал и сушил слезы. В это время что-то булькнуло, словно кто-то бросил в воду тяжелый плоский камень.

– Пойдем, сынок, – тихо сказала мать, – нас дома с хлебом ждут. А когда вода спадет, мы приедем и вытащим музыку.

– От нее ничего не останется, – нараспев сказал я, чтобы не всхлипывать, – сгниет-ет...

Дяди Миши на той стороне уже не было...

– Что-нибудь да останется, – успокоила мать. – Ты место заметил?

И вдруг она заторопилась, взвалила сидор с хлебом на плечи, оправила платье и замерла, прижав ладони к грудям.

– Ой, скорее...

На платье под пальцами матери расплывались два темных молочных круга...

Я оглянулся, чтобы еще раз заметить место.

От рояля осталась тяжелая металлическая станина со ржавыми охвостьями струн... Успокаивая меня и стараясь поскорее увести домой, мать не обманывала меня, как обманывают в таких случаях детей. Прошло семнадцать лет, семнадцать раз прибывала и уходила вода. Сколько ее утекло...

Мы ехали в Торбу на маленькой юркой машине «Вольнь» с проходимостью, рассчитанной на жестокое бездорожье. В багажнике позвякивали ведра: опустошенная, без единого дома Торба густо заросла малиной и коневником. Ехали уже несколько часов. «Вольнь» удачно выпарывалась из трясин, и ее владелец – мой товарищ – нахвалиться не мог. Но дело было не только в машине: в бесчисленных логах и грязях, случалось, застревали и вездеходы. Мой товарищ, геолог по профессии, был мастером по автмотоспорту и дорогу под колесами чувал нутром.

Однако и на старуху бывает проруха. Заметив впереди тот самый лог, товарищ машинально вырулил на обочину – подальше от ямы посередине дороги. Сели мы мертво. Забурились по радиатор, и вентилятор, зацепив воду, залил свечи.

Скорее всего, виноват был я, поскольку всю дорогу отвлекал товарища разговорами. А говорили мы как раз о драматической судьбе реки Томи, которая катастрофически мелела и уходила от города, поскольку ее другой берег размывали земснарядами и брали гравий. Мой товарищ занимался этой проблемой, рассуждал горячо и смело и навряд ли думал в тот момент о машине и о дороге.

Короче, мы вляпались крепко и, когда заглох мотор, полезли в багажник за лопатой. После долгого гула двигателя тишина показалась такая, что хотелось говорить шепотом. Знойное марево поднималось над болотом, и в этом мареве, словно в воде, ломались и троились

огромные, перезрелые сосны по берегу лога. Терпко пахло распаренной хвоей и одуряюще – цветущим багульником. Мой товарищ сбросил кожан и с маху всадил лопату в мягкий песок-пльвун.

– Здесь несколько лежневок утонуло, – пояснил я, – гиблое место...

– Вижу, что не асфальт... – ворчливо бросил товарищ.

Он, как и все люди со спортивным характером и неумной энергией, терпеть не мог непредвиденных задержек и неожиданных срывов. В городе мой товарищ метался между работой и тренерством в мотосекции как между двух огней: двигал смелые идеи, всегда с чем-то боролся, с кем-то ругался, безо всяких шел на прием к высокому начальству. Чаще всего получал по шапке, попадал в дикие ситуации и отчаивался. А в отчаянии становился еще энергичнее...

Он откапывал заднее колесо, когда лопата вдруг скребанула по железу.

– Туды-ттвою... Эти леспромхозы! – ругнулся товарищ. – После них хоть железный рудник открывай! В лесу – железо, в земле – железо...

– Покури, – предложил я и взял лопату.

Он и курить спокойно не умел: все ходил вокруг машины, пинал скаты и ковырял сапогом землю.

В тот момент мне и в голову не пришло, что под лопатой скрежешет то, что осталось от рояля. Я вывернул из грязи большую треугольную раму и внезапно увидел бьющегося в оглоблях пегаша, дядю Мишу Зпокоса, троящегося от слез в моих глазах, и мою мать с гримасой боли от резко прилившего молока...

Я сидел возле ржавой станины, перегнившие струны рассыпались в прах, оставляя на пальцах грязно-рыжие следы. Что-то все-таки осталось!

– Ты что, Серега? – подозрительно спросил мой товарищ и ходить перестал. – О железяку порезался?

– Это беккеровский рояль, – объяснил я. – Мой черный ящик, музыка...

Товарищ поглядел на меня еще подозрительнее и прикусил нижнюю губу, отчего глубокая впадинка на подбородке прорезалась четче – верный признак сильной природы... И, как все люди бойцовского склада и много битые, он был немного себе на уме. Наверняка он решил, что я перегрелся на солнце.

Я рассказал ему коротко, лишь одну голую схему своего детского горя. Казалось, он слушал невнимательно, – впрочем, он всех и всё во все времена плохо слушал. Хорошо только говорил и слушал себя – эгоизм целеустремленных людей...

Я знал о моем товарище очень многое. Писал о нем очерк для газеты и, помнится, чтобы прочувствовать героя «изнутри», однажды взял у него гоночный мотоцикл и два часа носился по сложной трассе.

Я давно сформулировал для себя все его духовные качества, открыл свойства характера. И лишь одного никогда не подозревал – sentimentalности. Он был горяч в деле, но холодноват к людям. Даже немного жесток. У него было мало друзей...

Тут же мой товарищ улыбнулся задумчиво (раньше он только дежурно хохотнул бы) и, присев у станины, погладил ее рукой.

– Надо же, – проронил он, – сели в лужу, а отрыли такую вещь... Это ведь что в детстве побывать... Ты знаешь, а меня тоже в детстве музыке учили...

– А меня – нет, – сказал я, – даже никогда не увлекался...

– Ну да, ты же в деревне рос, – вспомнил товарищ. – А меня насиловали скрипкой. Почти как Паганини, в чулан запирали, ремнем драли... Последнее время что-то начал часто вспоминать... Даже во сне вижу... Навязчиво так... Одну скрипку я нарочно уронил на ночь в ванну с водой, другую публично об пол треснул... Нет, музыкант из меня все равно бы не вышел, это точно... А вот вспоминаю сейчас – так щемит и жить хочется...

Он забыл о застрявшей машине и о том, что Томь катастрофически уходит от городского берега, мелея и покрываясь мазутными пятнами. Он будто только сейчас выиграл гонку и, бросив мотоцикл, упал на землю, распластался и впал в забытие, чтобы остановить бегущую перед глазами бесконечную ленту замкнутой трассы. Но ведь не он же ехал на телеге дяди Миши и так ладно пел! И не он потом плакал, высматривая сквозь слезы утонувший в черной воде рояль! И не он, тащась за матерью, выворачивал шею назад, чтобы заметить место!

Он вдруг сунулся в машину, покопавшись, достал фляжку со спиртом и складной стаканчик.

– Давай помянем, – предложил он, – выпьем за то, что не все пропадает, что хоть станина остается... А то закружились маленько, прём и по чему едем – не чуем...

Мы выпили из одного стаканчика.

Между нами лежала станина – все, что осталось... И уж теперь никак не наладить этой «музыки». Некому. Мой дед, кузнец и бондарь, умер в то же лето, дядя Миша Зпокосу лежит в своей родной земле, на Украине, пегаш наверняка околел, нет тети Фроси, а если лилипут и жив, то очень стар, да и не терпел он расстроенных инструментов...

А мать моя, нарожав пятерых детей и едва успев вскормить грудью последнего, умерла двадцати девяти лет от роду.

Мы молчали, как и полагается на поминках. В тишине я вдруг услышал легкий, серебристый звон, исходящий откуда-то из выкопанной нами ямы. Маленькая струйка воды сочилась из песка, и яма медленно заполнялась чистой, отцеженной водой.

– Слышишь, звенит! – шепотом сказал я. – Ты слышишь?

А тогда я тащился за матерью, выкручивая шею и хорошенько запоминая место.

Ничего, мы его обязательно достанем, когда сбудет вода, твердил я про себя и успокаивался, мы с матерью его вытащим, высушим, а дедушка натянет недостающие струны, выстрогает новые молоточки, приделает новые ноги, и мы все будем играть. Клавишей столько много, что хватит на всех одновременно и даже спорить не придется, кому первому, а кому второму. Даже молокососу Пашке что-нибудь достанется. Эх, жалко, думал я, что в нашей семье никто не умеет играть на этой «музыке», как играл лилипут. Отец умеет на русской гармошке, но ему же все некогда! Дед только свистит красиво, бабке же что в хозяйстве не годится, все – барахло. Мать поет здорово, она бы научила, если бы сама умела...

Я почти бежал за матерью, и мысли от этого были такие же быстрые. Мать моя считалась скорой на ногу, иные мужики тягаться не могли. За день она оборачивалась из Чарочки, когда случалось ей ходить в гости к матери своей, бабке Валихе. А это пятьдесят километров в оба конца. Плавала она красиво, вся спина над водой, ныряла же вот уж точно лучше всех. Однажды на отцовых именинах, после пляски до упаду, гости собрались и пошли купаться. Песок был на другой стороне, и всем захотелось непременно поваляться. Женщины поехали на лодке, мужики поплыли вразмашку, а мать, проводив всех, незаметно разделась и нырнула у самого берега. Лодка и мужики едва середины достигли, а она вынырнула на песчаной отмели, встала и бегом по песку, по чистому, нетронутому – нога человека не ступала. Искрестила его вдоль и поперек и скорее назад таким же способом, потому что гостям гулянка, а хозяйке работа. Перенырнула Четь, схватила платье и домой. Гости же глядят – рты раскрыли и сморгнуть видение не могут: белый песок, белое солнце и белые волосы от бега на ветру полощутся...

Мы отмахали больше половины, когда на дороге заметили человеческую фигуру. Кто-то темный сидел на корточках и перебирал руками песок. Завидев нас, человек вдруг встал на четвереньки и протяжно заревел.

– Пропусти, Аркаша, – ничуть не испугавшись, попросила мать, – мы домой идем.

Аркаша откосолапил на обочину, сердито, по-медвежьи, рыкнул нам вслед. Сквозь протертые штанины зияли серые от грязи колени, никогда не чесанные волосы торчали сосульками в разные стороны, а голубые Аркашины глаза сияли радостно и совсем не зло.

– Я не медведь! – сказал нам Аркаша. – Я только напугать вас хотел!

– Мы тебя не боимся – не оборачиваясь бросила мать, – ступай домой. Есть, поди, хочешь?

Она быстро скинула сидор, развязала его и отломил кусок хлеба. Вкусно захрустела корка, запах теплой булки-черняшки наполнил рот слюной...

– Возьми, вот тут, на пенечке, – сказала мать, оставляя хлеб, – да беги домой.

– И мне дай, – попросил я.

Мать отломил и мне. Хлеб был чуть кисловатый, покалывало в скулах и хрустело на зубах. Дорожный хлеб всегда вкусней, чем за столом. Я уже совсем успокоился. Ничего, думал, пусть «музыка» полежит в воде, так еще сохранней будет. Оттуда уж точно никто не утащит.

Аркаша подкрался к хлебу, схватил его и стал есть почти не жуя. Глаза его потемнели, засверкали, словно он боялся, что отберут.

– Господи... – как-то по-старушечьи проговорила мать, – вот горе-то родителям...

Торбинский Аркаша-дурачок каждую весну уходил из дома и плутал где ему вздумается до глубокой осени. Говорят, однажды он добрался аж до Москвы и, обносившись за дорогу, украл шинель. Его поймали и сильно избили. Родитель Аркашкин, Трифон Попов, среди зимы получил бумагу из какого-то учреждения с просьбой приехать и забрать своего сына. Жили Поповы трудно, ребятишек полная изба. А сам Тришка, маленький, кудлатенький мужичок, работал в леспромхозе «куда пошлют» и едва кормил свою ораву. Не мешкая Трифон продал корову, купил новые пимы и поехал в Москву. Аркашу он привез на руках, после чего тот еще целый год отлеживался и, говорят, совсем ослаб на голову.

– На самолете летал! – хвастался Тришка, выпучивая глаза и делая губы трубочкой. – Под самые под облака поднимается! Страх-от какой!

– Что с Аркашкой? – спрашивали его. – Как здоровье?

– А у меня робенки-то живучие! – смеялся Тришка. – Иссох маленько, да ничего, оклемается к весне-от!.. А избушонки-то внизу ну ровно улы на пасеке! – Трифон переходил на заговорщицкий шепот: – Слышь-ка, с вышотишши экой людей-от совсем не видать!..

Судьба чудной семьи Поповых до сих пор напоминает мне старинную русскую игрушку матрешку; разъедини одну – в ней другая, точно такая же, лишь меньше размером, а в той – еще одна... Во время столыпинского переселения мой прадед Григорий Прокопьевич ехал в одном вагоне с многолетней семьей Поповых. Вятские переселенцы ехали в Сибирь как в рай земной. Считали едоков, множили на десятины, и выходило, что Попову земли полагается столько, сколько всем остальным в вагоне.

– От уж поедим хлебушка! – радовался Аркашкин дед. – От уж попечем пирогов-то!

На одной из станций пропал пятилетний Тришка. Отец великого семейства хватился лишь вечером, когда спать укладывались. Пересчитал по головам – одного не хватает. Где искать – неведомо...

– Экая досада! – поскреб затылок. – Нет бы девке-то потеряться, а то парнишка...

На следующей станции мой прадед Григорий Прокопьевич сошел с поезда и вернулся назад, искать мальчика. Нашел он Тришку лишь через неделю в каком-то подвале, полуживого привез в Сибирь, на землю обетованную, некорчеванную и голодную...

– Оклемается! – махал рукой Тришкин родитель. – У меня робенки живучие!

Мать боялась Аркашу и жалела его одновременно. Говорили, будто он ловит женщин, предлагает выйти за него замуж и нарожать ему много-много ребятишек...

В осинниках – до Алейки рукой подать – молоко у матери так приперло, что она застонала и припустила бегом.

– Не отставай, Серенька! Давай в ногу бежать!

И мы побежали в ногу и задышали вместе, разом. Стало так легко, словно кто-то подталкивал меня сзади, приподнимал над землей и я лишь перебирал ногами. Мелькали деревья, целый часток кол деревьев, и если бы взять палку, то можно было бы «тарыхтеть» ею по осинкам и сосенкам, как по плетню!.. Так мы неслись до старого смолзавода – места таинственного и удивительного. Здесь жили змеи, зияли черные дыры едва прикрытых колодцев, и полузава- ленные сводчатые жерла печей казались входом в сказочный подземный мир. На смолзаводе быстрее всего сходил снег, появлялась первая земляника, и даже глубокой осенью земля здесь была теплая, а трава – зеленая... И вот в этом месте мать неожиданно остановилась и присела, разглядывая что-то в прошлогодней траве.

– Кукушкины слезки!

Я бухнулся рядом. Из земли, окруженный тремя травинками, торчал полураспустив- шийся цветок – три синих лепестка...

– Так рано... – почему-то озабоченно проронила мать и легла на землю. – Как пахнет!

Мне кажется, все цветы, кроме кукушкиных слезок, пахнут одинаково – одеколоном. На худой случай – духами. Впрочем, у меня плохое обоняние. А оно, говорят, равно музыкальному слуху. Слуха же у меня и в помине не было...

Я понюхал цветок.

– Чуешь? – радовалась мать. – Только нюхать кукушкины слезки надо не срывая. А сорвешь – весь запах сразу пропадает. Вот гляди!

Она выщипнула цветок и поднесла к моему носу. Пахло обыкновенно, свежей травой и материными руками...

Дома нас ждали давно, Пашка орал, выплевывая «жвачку» – жеваный пряник в марлечке, и требовал молока. Мать скинула сидор, и уже через секунду последышек накрепко присосался к груди, вместе с молоком вытягивая боль.

– Где вас носит? – рассердился отец. – Пацан изревелся, ужинать пора... За смертью вас посылать...

– Мы музыку хотели привезти! – с гордостью сказал я и не понял, что тем еще больше навлек гнев.

– Нашли добро! – немедленно отозвалась баба Оля. – Людей смешите ходите...

Видимо, это была решающая реплика. Баба Оля всегда произносила только решающие слова. Остановить ее либо перечить ей мог разве что дед Семен Тимофеевич. Однако он был терпелив и вступался лишь в крайних случаях.

– Цыть! – говорил он, сопровождая это крепким, искусным матом, и бабка враз замол- кала, сердито хмурясь.

Мне так хотелось, чтобы дедушка сказал свое «цыть», но он после ужина пошел в горницу и лег спать.

– Ребенок просит... – слышал я далекий голос матери, – пускай бы играл...

– Завтра он голову попросит, – сердилась бабка, – тоже снимешь и отдашь?.. Над Аркаш- кой смеемся, а сами...

С раннего детства нас приучили бабу Олю звать мамой, а мать – матерью. Слово «мама», ласковое и нежное, доставалось бабке как почетное имя, и она всегда гордилась этим.

– Меня вон внучата мамой кличут, – говорила она, – оттого что с пеленок на моих руках!

А короткое и строгое – мать, – по размыслию бабки, звание ниже рангом, – доставалось матери.

И пожалуй, с тех пор слово «мама» кажется мне легковесным и пустоватым, нежели чем вечное и справедливое – мать.

Мама – это лодка на воде; мать – земля под ногами...

Мать слабо защищалась, и я не помню, чем закончилась ссора. Широченная четырехспальная кровать качнулась подо мной и поплыла, распахивая звездное небо. Каждый раз, засыпая, я смотрел в окно, в котором умещалось ровно семьдесят три звезды, и сон всегда начинался одинаково: я вылетал в небо, превращался в точку, в семьдесят четвертую, и исчезал. Проснулся я оттого, что кто-то осторожно двигался по избе. Потом тоненько пискнула гармошка, прошелестел материн шепот и дверь бесшумно затворилась. Боясь разбудить братьев-двойняшек, я выбрался из-под одеяла и осторожно прокрался в сени.

Отец негромко играл, шепотом пела мать...

Эх, да как по речке, да по водице
Сизый селезень плывет...

В парнях отец был деревенским гармонистом, и была у него старинная русская гармонь, вывезенная еще из Вятской губернии. Когда-то гармошка выглядела нарядно: перламутровая мозаика, такие же кнопочки, резные крышки. Однако пообтрепалась она на вечеринках и гулянках, планки хоть и медные поставлены, а нет-нет да и западают голоса. Отец играл редко – на гулянках-складчинах и на своих именинах. Наяривал лихо, иногда сам пускался вприсядку, растягивая гармошку на всю длину рук. Все остальное время она пылилась на стуле в углу горницы, и однажды баба Оля поставила на нее старый чугунок с фикусом: все равно зря место занимает...

Я не помнил случая, чтобы отец играл на ней просто так...

Эх, да по речке, да по водице
Сизый селезень плывет...

Несколько раз он брался за гармошку после смерти матери. Садился на крыльце либо на берегу Чети и наигрывал что-то печальное, неторопливо-тихое. Иногда бросал гармонь и плакал, упав на кровать. После похорон отец начал пить, сделался слезливым и жалким.

Потом он совсем забросил ее. Гармошка лет десять валялась под кроватью, затем в сундуке, пропахшем нафталином, в подполе и, наконец, на улице. Не помню, кто ее повесил на гвоздь, вбитый в косяк окна, возможно сам отец, но около года она висела под снегом и зноем, выгнув мех, как шею, заглядывала в окно, словно дожидаясь своего хозяина.

И дождалась. Года два назад отец вдруг начал собирать и спасать старые, раньше никчемные для него вещи. В один из приездов к нему я увидел на стене портреты своих родителей, любовно обрамленные холщовым полотенцем, снятым с божнички. Отец был в галстук, которого сроду не носил, мать – в белой, воздушной сорочке с кружевным воротником и строгом черном костюме. Заезжие художники-халтурщики «переделали» их грубовато, «причесали» на аккуратный пробор, заменили фон – одним словом, нагнали парадности и лоску, и лишь улыбка на губах матери осталась настоящая... Будто просветлел дом отца, будто свету прибавилось от неказистого портрета. В другой раз я обнаружил, что все вещи, сделанные руками матери, – вышитые уголки, наволочки, полотенца – собраны в шкафу на одной полке и обильно пересыпаны махоркой.

– Моль, зараза, – объяснил отец, – нитки-то шерстяные, жрет почему зря...

Вскоре после этого он принес с улицы гармошку, завязал ее в платок и, бросив в передок телеги, поехал в соседнюю деревню, к знаменитому когда-то, но очень уж старому мастеру. Потом рассказывал, как мастер, едва увидев гармошку, ожил, раздухарился: продай, говорит! Сто рублей дам. Давно, мол, такой гармонии в руках не держал. А я тебе в придачу еще свою однорядку отдам.

– Я на планках метку поставил, – хитровато щурясь, признался отец. – Кто его знает, возьмет да обменяет. Голоса-то уж не те будут...

За ремонт мастер взял с отца ровно сто рублей...

По ночам отец спит чутко и мало. Проснувшись, вдруг вскакивает, включает свет во всех комнатах и ходит по избе, заглядывая в темные окна. И, словно удостоверившись, что кругом пусто и ждать некого, закуривает, садится на табурет посередине избы и берет на колени гармонь. Она всегда у него под руками, лежит на сундуке возле кровати. Иногда он тихонько играет, а иногда подолгу сидит просто так, облокотившись на гармошку и скрючив босые ноги...

2

Смородина в тот год не уродилась. По низинам вымокла в половодье, а на гривах выгорела от зноя. С мая до покоса ни одного дождичка. Но едва косить начали – и зарядил сеногной. Покос растянулся до августа, кое-как сметали четыре стога на ближних лугах, на дальних же все сено в копнах. А говорят, в копнах не сено, в долгу не деньги. Надо бы ягоду промыслить, пока не развиднеется и не подсушит ряды, однако все смородиновые места по Чети объехали – пусто. На симоновских лугах с горем пополам ведро набрали. Ягода мелкая, сорная, насквозь клопами пропахла, впору выкинуть, но все-таки домой привезли. Дома бабушка трехведерный котел сиропа сварила, с добычей ждала. А как увидела добычу – руками всплеснула:

– Вот так на!.. Ни сена нонче, ни ягоды... Однако война будет или голод.

Она все неурожаи связывала с грядущими бедствиями – и, слава богу, ошибалась. Мы не голодовали, наш дедушка Семен Тимофеевич оставался дома, а это значило, что войны нет и не ожидается, поскольку без деда ни одна война с начала века не обходилась.

И по-прежнему мирно стояла наша Алейка – село в один двор.

А тут как-то приехал отец с рыбалки, привязал лодку и чуть не бегом домой. Ну, говорит, смородину нашел! Не смородина – виноград. И недалеко совсем, на прохоровских покосах. Мать обрадовалась, просияла, и, как всегда в таких случаях, платок с головы долой, волосы распустила и смеется: «Ох и настырный же ты, Трофим!» Мать любила ходить по ягоды. Собирает и поет целый день. Окликнешь – не слышит...

Наутро отец привез нас на прохоровские луга, раздвинул кусты в болотнике – мы ахнули. Черным-черно! Ветку от земли не поднимешь. Мать сразу же села под куст, будто под корову, и через минуту в ее ведре дно скрыло. Мы с сестрой бросились к другому кусту. Отец же завел моторку и поехал на рыбалку. Мать пела «Под окном черемуха колышется...», а руки ее так и сновали над ведром. Я еще немного порадовался смородине, после чего мне стало скучно. Все-таки собирать ягоду – дело женское. В свои шесть лет я уже твердо знал, что вся работа делится на мужскую и женскую. Рыбачить, ходить на охоту, косить, рубить избу – вот это было бы мне как раз. Меня готовили в охотники. Зимой я уже ставил петли на зайцев и ходил проверять морды. Матери с сестрой Алькой было хорошо. Они знали свое женское дело и спокойно брали смородину. Я бы запроехался ехать с отцом на рыбалку, но отец еще дома сказал, что я должен охранять женщин на ягоде, что без мужика им будет страшно.

Ягодная болотина тянулась вдоль увала, на котором росли огромные сосны. Кроны у этих сосен свернуло ветром на одну сторону, и я видел желтые залысины на стволах до самой верхушки. Некоторые деревья давно засохли, кора обсыпалась, хвоя облетела, и кроны их, уродливо переплетенные, черные, торчали среди зелени сурово и неприступно. За однобокими соснами по краю увала начинался густой бор, потом чернолесье с березовыми полянами. И если налетал ветер, то крайние гиганты лишь протяжно шумели, тогда как за их спинами деревья гнулись, а то и вовсе стелились по земле. Ободранные ветром сосны напоминали мне лесных мужиков, которые вышли на увал и остановились, сдвинув шапки набекрень.

Весь увал и все, что за ним, называлось непонятным для меня словом – материк. «Весь сохатый в материк ушел, – говорил отец, – там его теперь не возьмешь». Наша Алейка стояла на таком же увале, и весной, когда Четь заливала все луга и пойменные леса, подступала к самым огородам, дед Семен Тимофеевич почему-то уверенно говорил: ничего, пускай прет, все равно материк не затопит. Весной же к матерiku плыли зайцы и лоси, медведи и мыши, ехали на лодках со скарбом и коровами жители окрестных, затопляемых деревень...

Выходило, что материк – это место, которому не грозят потопы и где всегда можно спастись от всяких бед. И огромные сосны по его краю назывались кондачом – насквозь просмо-

ленное дерево, которое не гниет в земле. «Клады, – говорили мужики, – нижний венец из кондача, и простоит изба тыщу лет».

Я уселся верхом на высокую кочку и совсем заскучал. Котелок с горстью смородины остался в кусте. Глядеть на материк было немного жутковато: на ближней сушине сидел ворон, такой же черный, как сук, и такой же неподвижный... Но за спиной пела мать, и ей подтягивала Алька. «Посею лебеду на берегу...» Я сидел и думал: хорошо, если бы отпустили меня на материк, из этого болота. По увалу наверняка есть барсучьи норы, и я бы заметил их, чтобы осенью с отцом поставить капканы. Отец бы тогда сказал – молодец, Серега! Охотником будешь!.. Так ведь же не отпустит мать. Скажет, ты в прошлом году за огородами блудил, а на материке и подавно заблудишься. Алька ухватится и начнет еще подшучивать, дескать, эх ты, охотник... Я в самом деле блуждал за огородом. Меня искали, кричали, но я не откликнулся и вышел сам.

Почему-то лес, что рос в глубине материка, назывался миндачом, и, когда говорили это слово, сразу было понятно, что миндач – плохое дерево. Но мне все равно хотелось туда, в глубь материка, я представлял, как иду по густому, высоченному бору, сам ростом с сосенку, и холодок стягивал кожу на голове. «Ты не заснул там, Серенька? – спросила мать. – Почему не поешь?» – «Я смотрю», – сказал я. Мать снова запела. Однажды отец сказал, будто мать поет на ягоде, потому что трусит зверей. А когда поет – ей не страшно. Видно, поэтому отец отправил меня с бабами. Вот еще бы ружье оставил...

Я снова стал думать об охоте и так размечтался, что даже вздрогнул, когда услышал шорох у себя под ногами. Кто-то протискивался между кочек и пыхтел. Я раздвинул ногой осоку и обомлел: на земле сидел медвежонок, мокрый и чумазый. Первой мыслью было схватить палку и трахнуть его – добыча! Но медвежонок был такой маленький и жалкий, что я мгновенно решил поймать его живьем. Вот уж подивится отец!.. Я сдернул курточку и шлепнулся животом в грязь, накрыв медвежонка. Так мы ловили бабочек-капустниц на берегу. Зверенок трепыхнулся под руками и обиженно пискнул.

– Мать! – заорал я. – Медвежонок поймал!

От радости не хватило ни воздуха, ни голоса.

– Ох и вруша, – недоверчиво отозвалась Алька, но заспешила ко мне.

Звереныш брыкался и хрюкал под курткой, норовя выскочить.

– Мать! Поймал! – визжал я. – Идите сюда! Скорее!

Алька подбежала первая и выронила подойник с ягодой.

– Мамочки! – испуганно взвизгнула она и присела. – Он и правда кого-то поймал!

Мать выскочила из-за куста и, запнувшись о кочку, упала. Чуть неполное ведро брякнулось о землю, и ягода осыпала мои ноги. Эх, попробуй теперь собери ее из грязи! Столько трудов даром!.. Но мать почему-то не стала собирать ягоду, а на четвереньках подобралась ко мне и столкнула меня с медвежонка. Не успел я опомниться, как она выхватила мою добычу и крикнула:

– Сидите здесь!

И лицо ее почему-то побелело, нос заострился.

– Это я поймал! – отчаянно крикнул я и чуть не заплакал. – Я! Я!!!

Но мать, ничего не сказав, вскочила на ноги и побежала к увалу. Бедный медвежонок верещал в ее руке и колотился по кустам. Через мгновение мать скрылась, и только белые распущенные волосы ее остались стоять в глазах да слышалось поросячье повизгивание звереныша.

Когда я опомнился, мне стало горько и обидно. Теперь, конечно, будет считаться, что медвежонок поймали Алька с матерью и я тут ни при чем. Вечно так. Я найду тетеревиное гнездо, покажу Альке, а она кричит – я нашла! Я первая увидела! Или когда за грибами ходим – тоже...

– Куда его мать потащила? – спросил я, готовый реветь. – Это же я поймал!

– На кудыкину гору! – сердито сказала сестра. – Ты поймал...

Я понял, что и на этот раз будет так же, и моментально заплакал. Чего она лезет в мужское дело? Собирала бы свою ягоду и не совалась.

* * *

Алька так и не изменилась. Ни тогда и ни потом. Бралась только за мужское дело. Работала крановщиком, затем вообще выше всех мер – стала служить прапорщиком в Советской Армии.

И всегда оставалась при этом женственной, очень похожей на мать.

– Эх ты, слезки на колесках! – стала дразнить Алька. – Ньюни распустил, плакса-вакса...

Но потом она пожалела меня и начала уговаривать, что медвежонок тоже хочет жить и что мать сейчас отнесет его в лес, найдет медведицу и отдаст. Ведь медведица, наверное, потеряла своего детеныша и теперь ходит ищет везде. В это время я услышал, как мать запела. Она была уже на увале, возле кондовых сосен. Медвежонок плакал и дрыгал лапами, а мать нет успокоить его, так еще трепала его и колошматила на ходу.

– А за что она его колотит? – обидчиво спросил я.

– Чтобы не убежал далеко, – сказала Алька. – И тебя надо поколотить заодно... Давай лучше ягоду собирать. Гляди, сколько в грязь втоптали. А мать мучилась, собирала по одной.

И только она присела на корточки перед горкой смородины, как вдруг в ягодной болотине кто-то страшно заревел. У меня мурашки по спине поползли.

– Кто это? – спросил я шепотом и вцепился в Алькину руку.

Алька оглянулась.

– Мишка косолапый.

Потом в той стороне, где ревело, сильно затрещало и захлюпало. Мне показалось, что это идут к нам, но медведь рывкнул уже где-то под увалом. Страшного ничего не было, и вдобавок на увале где-то пела мать. Мы стали собирать ягоду. Медведь еще порявкал и замолчал. Наверное, убежал куда-нибудь.

Мы собрали смородину, однако ее осталось всего полведра. Остальная пропала в грязи. Я принес свой котелок и высыпал то, что было, в материно ведро. А то ей обидно будет, когда вернется. Вот, скажет, какая я разиня, взяла да шмякнулась...

– Только пускай считается, что медвежонок поймал я, – предупредил я сестру, – а то ты опять скажешь...

– Ладно, – согласилась Алька, – я тоже когда-нибудь поймаю... А этого не жалею. Когда ты вырастешь большой – убьешь его. Он тоже тогда вырастет.

Ворон на сухостоине сидел-сидел и вдруг полетел куда-то следом за матерью. Только сук, на котором он сидел, подрожал немного и остановился. А мать уже стало не слышно. Видно, ушла далеко или песню одну допела, а другую еще не начала. Она всегда между песнями промежутки делала. Спросит, не проголодались ли мы с Алькой, посмотрит, сколько мы ягоды набрали, похвалит и снова запоет. Я же давно, почти с самого утра, успел проголодаться, и время было к обеду. А когда мать падала, у нее из ведра узелок выкатился вместе с ягодой, красный от смородинового сока.

– Аль, давай поедим? – предложил я. – А то кишка кишке протокол пишет.

Так отец всегда говорил, когда был голодный.

Сестра развязала узелок, расстелила у себя на коленях, как мать, когда мы садились обедать. Только мать самое вкусное отдавала мне, потому что я младший. Алька же хлеб с повидлом сразу взяла себе и откусила, чтобы я не просил. А мне дала котлету и огурец. Я промолчал, съел, что дали, и заглянул в узелок.

– Это – матери, – сказала сестра, – ну и обжора ты!.. Потерпишь, скоро домой пойдем. Вот доберем ведра и пойдем.

После обеда Алька начала собирать ягоду, а я снова залез на кочку и стал смотреть на материк. Там было тихо, даже кондовые сосны перестали шуметь, а миндач и подавно. Эх, и что отец мне ружья не оставил? Я, может быть, того медведя бы убил, который ревел в болоте. Подкрался бы, прицелился и – ба-ба-ах! Мне отец давал стрелять из малопульки, и я даже в баню из нее попал. Сам видел, пуля в бревне сидела – соломинкой не достать.

Между тем Алька свой подойник добрала с верхом и уже в материно ведро сыплет.

– Давай собирай, – сказала она мне, – нечего сидеть.

– Я мать жду, – сказал я.

– Я тоже жду, но собираю, – начала придирается сестра, – лодырь ты несусветный.

– Мне тятка сказал вас охранять, – нашелся я.

– Эх ты, охраняльщик! – презрительно протянула Алька. – Медведя услышал – как клещ вцепился...

– А хочешь, я сейчас на материк пойду и не побоюсь? – заявил я.

– Попробуй только! – сурово предупредила сестра. – Мать что сказала? Сидеть здесь! Ищи тебя потом... За огородом блудил...

Вдруг в стороне от нас опять что-то затрещало, захлопало и прямо на нас поперло.

– Если медведь – ведра оставляем и бежим, – прошептала Алька, – он ягоды пожрет и отстанет.

Но из кустов вышла наша мать и, оглядываясь назад, заторопила, чтобы мы скорее собирались и уходили. Дескать, смородина здесь ни к черту, не смородина, а гниды, от нее спать хочется. Я обрадовался, что меня больше не будут заставлять делать женское дело, подхватил котелок и побежал на луговину... Мать шла впереди, цепляясь руками за ветки, чтобы не упасть, и все подгоняла нас.

– Мать, а ты куда медвежонка девала? – спросил я, когда мы вышли на чистое место. – Это же я его поймал, правда?

– Ты, ты, сынок, – пробормотала мать, – только я его отпустила, пусть на воле живет.

– Ладно, – согласился я, – когда он вырастет побольше, я его добуду.

– Добудешь, – подтвердила мать, – куда он от тебя денется?

И только на лугах я увидел, что мать идет босая, а платье у нее порвано на плече так, что видно голую руку.

– А я слышала, как медведь ревет! – похвасталась Алька. – В болоте орал, недалеко от нас. А Серега сразу струсил, вцепился!..

– Это он сыночка своего искал, – сказала мать, – теперь, поди, нашел.

– Сама ты струсила! – сказал я, но потерял охоту с Алькой связываться. Ее не переспоришь. Она чуть что – говорит: нам в школе говорили, я в школе учусь, а ты еще нет!

* * *

Мы не стали ждать, когда приедет с рыбалки отец и заберет нас, а пошли пешком. Идти было хорошо по лугам. Это не по болоту с ведром таскаться. Мать почему-то не пела и всю дорогу подгоняла нас.

Когда мы вышли к озеру, увидели утиный выводок рядом с берегом. Утята сразу же понырля, а утка захлопала крыльями и потащилась по воде, словно подбитая.

Вот это была мужская работа! Я схватил палку и побежал вдоль берега. Мне так хотелось вернуться с добычей! Подшибить эту утку – ерунда, от берега три шага.

Видно, охотники весной упустили подранка, вот он и мучается, даже летать не может. Я замахнулся палкой, но мать вдруг перехватила мою руку и потащила за собой.

– Пошли, пошли, охотник, – приговаривала она. – Думаешь, так просто ее убить? Погляди-ка!

Утка вдруг сорвалась с воды и круто пошла вверх, лавируя меж тальниковых веток. Только свист стоял от ее крыльев!

А на середине озера, как резиновая игрушка, вынырнул маленький утенок и завертел головой...

3

В тот же год, похоже ранней осенью, у нас появился гость.

Был он родственником со стороны отца, однако дальним, что-то вроде двоюродного дяди, и его гостевание, радушный прием больше зависели от каких-то давних сугубо житейских отношений, нежели чем от родства. Кажется, в голодный двадцать первый год, когда баба Оля ходила по миру с сумой, родители гостя отдали ей стельную телку.

Звали гостя Иваном. Приехал он в офицерской гимнастерке под ремнем, в широких синих галифе с кантами, в хромочке-гармошке на одной ноге. Вместо другой у Ивана торчал березовый протез. Зато на широкой, выпуклой груди гостя сияли два ордена и штук восемь медалей. Русокудрый, улыбчивый «ерой» (так сразу назвал его дед), позванивая наградами, растолкал нам в руки гостинцы, потрепал за щеки моих братьев-близняшек, тогда еще грудных, и взрослые тут же уселись за стол. В тот же час я влюбился в Ивана, забрался к нему на колени и начал разглядывать ордена и медали. На меня зашикали, пытались выпроводить, однако гость приобнял меня свободной от стакана рукой и безапелляционно заявил:

– Пускай сидит, солдат!

Я начал теребить его за медали и спрашивать:

– Иван, а вот эта – за что?

– Не Иван, а дядя Ваня, – сердито поправляли родители, – не мешай человеку!

Иван лихо опрокинул стакан медовухи, крикнул и отрубил:

– Зови Иван, солдат! А медаль эта – «За отвагу». Бегут, значит, немцы, а я их из пулемета – тра-та-та-та-та! – он повел протезом, как стволом пулемета. – И считай, взвод положил!

Дед мой, Семен Тимофеевич, с трех войн принес лишь две медали, и то заслуженные в последнюю: «За оборону Заполярья» и «За победу над Германией».

Но военные рассказы гостя на том и кончились, потому что он ссадил меня с колен, подтянул протез и бросился плясать. Отец наяривал на русской «Подгорную», а Иван плясал вдохновенно, отчаянно ходил вприсядку на одной ноге, и протез ему был не помехой. Только стукоток стоял и посуда в шкафу звенела! Через пять минут гимнастерка на его спине пропотела, лоб заблестел, а он же знай свое: то эдаким чертом пройдет, то цыганку из себя изобразит, подергивая выпуклой грудью и звеня медалями. Потом вдруг подлетел к матери, отбил чечетку и пригласил в круг. Мать озорно сверкнула глазами, вскинула голову и поплыла, натянув за спиной платок.

– Ну, черти! – восклицал дед, стуча кулаком по столешнице. – Мать вашу!.. От дерут! От дерут! Ну, ерой! Эт по-нашему, по-расейски!

И тут я заметил, что Ивану страшно тяжело, что он вот-вот рухнет. Уже зубы стиснул так, что шишки на скулах вздулись, и не улыбается больше Иван, а руками не кудри свои разлетистые поддерживает – голову сжал и терпит. Мать же словно не видит, все подзадоривает и подзадоривает, выбивая каблуками дробь.

– Эх, туды-т твою растуды! – не выдержал дед и полез из-за стола. – Наших бьют! Спасай мужичье племя!

Хотел выйти красиво, но сухая нога – хуже протеза. И заскакал он козлом, и запрыгал, хватаясь руками то за стену, то за печь.

Чем бы все кончилось – неизвестно. Положение спасли братья-близняшки: вдруг заревели одновременно – и мать с круга будто ветром сдуло.

Отец поставил гармошку, вытер пот со лба.

– Ну и сношка ж у тебя! – сказал Иван деду и хватил залпом стакан медовухи. – Огневая, значит, женщина!

– Бойка-а, – протянул дед, заходясь в астматическом кашле. – Хоть куды...

Угомонились поздно. Я уснул под редкий коростелиный скрип на лугах, а в избе все еще играла гармошка, стучал протез и звенели медали. Наутро отец завел моторку и уехал на охоту. В тот год сильно расплодившаяся ондатра заболела туляремией, покинула озера и, выбравшись в Четь, начала уходить. Охотники ловили момент промысла, и гулять не было времени.

Иван и дед остались вдвоем, но застолье продолжалось теперь с утра до вечера. Они, как правило, быстро напивались и, дразня бабку, хором пели матерщинные частушки.

– Ерой, – ворчала бабка. – Ни стыда, ни совести у окаянных...

Но чаще они сидели друг против друга, чуть ли не соединившись лбами, и вспоминали про войну. Мой дед Семен Тимофеевич воевал минометчиком, но это слишком красиво сказано. На самом деле он таскал на горбу минометную плиту и, по сути, не воевал, а работал.

– Утром поставим трубу, – рассказывал он, – плюнем по немцу семь раз – весь дневной паек, а потом он нас до вечера из орудиев долбит и долбит... Будто шершиное гнездо разворошили. Пехота нас матом кроет, имя ж достается-то... Я командиру говорю, давай ден десять погодим, скопим мин да шарахнем. Они, вишь, немцы-то, к тому времени отвыкнули от пальбы и прятаться не станут. Тут мы их и... А он – ты что, под трибунал захотел?.. Ишь как, дескать, тактика такая. В гробу я ее видел! Сами урон несем, а имя хоть бы что!.. Не-ет, где-то предательство было...

Война у деда получалась тусклая и скучная. Зато у Ивана была такая, что дух захватывает. Иван вскакивал, размахивал руками, «стрелял» из автомата, «бросал» гранаты и «резал» ножом.

– Я кричу – р-р-рот-та-а! За мной! Слышь, Тимофей, команду – р-р-рот-т-та!.. Эх, в три господ... Р-р-рота!.. Слышь, Тимофейч, ночью один раз пошли в атаку, тихо пошли. Первую линию ножами вырезали! Как миленьких, подчистую! А потом я команду – р-рот-та!.. И врукопашную!

Когда им надоедало сидеть в избе, фронтовики выбирались на улицу, под сосны, тащили туда ведро с медовухой и продолжали вспоминать. Иван брал столовый нож, ползал по траве, не жалея новой гимнастерки, и, вращая глазами, показывал, как он орудовал во вражеской траншее. Мать, случайно оказавшись рядом, со страхом наблюдала за гостем и тихонько ойкала:

– А не страшно ли? Жуть-то какая...

– Чего страшного? – смеялся Иван. – Известно – война же!

– Людей-то резать не страшно?

– Какие они люди! – возмущался «ерой». – Зверюги они!

– Да ведь все равно, обликом-то люди...

В одной из «атак» под соснами Иван потерял медаль. Кругляшка отцепилась от колодки и завалилась где-то в траве. «Ерой» вдруг перепугался, начал шарить вокруг себя, и через минуту все – Иван, дед, мать и даже баба Оля – ползали на четвереньках под соснами и рылись в траве. Потерянная медаль была ценнее всех медалей – «За отвагу». Мы излазили всю землю чуть ли не до смолзавода, но медали так и не нашли. Я из кожи лез – старался, даже предложил принести лопату и перекопать землю.

– Ничего, – успокаивал дед Ивана. – На будущий год две вырастет! Считай, что посеял.

Две не выросло. А ту потерянную «ероем» медаль спустя три года нашли близняшки Колька с Тимой.

– Мать, гляди! – в голос кричали братья. – Мы денежку нашли!

Мать взяла «денежку», повертела ее в руках и неожиданно с силой забросила в болото.

– Зачем так-то?.. – хмуровато спросил дед. – Можно было бы и послать ему...

– Чтоб духу его не было! – сердито сказала мать.

Так и лежит он до сих пор в болоте – маленький серебряный кругляш – заслуженная и потерянная Иваном награда... Самого Ивана давно нет в живых, и памяти о нем почти не

осталось – в семье его долго и тщательно забывали. Но медалька-то есть, лежит в высоком материковом болоте и вряд ли сотлеет даже за тысячу лет...

После потери Иван сильно затосковал и даже пить перестал. Его наперебой утешали, однако «ерой» печалился еще больше. Той же ночью он тихо, на одной ноге, подобрался к материнной кровати и окликнул:

– Ты не спишь, Валь?

Поскольку отец был на охоте, я спал с матерью под пологом в сенцах старой избы.

– Нет еще, – сказала мать. – Я только управляться кончила.

– И мне не спится, – сказал Иван, – глаза закрою – чудится...

– Да брось ты переживать, – вздохнула мать. – Ну потерял, что поделаешь? Не голову же...

– И голову – тоже, – тихо проронил «ерой», – мочи нет глядеть, как ты живешь.

– А как я живу? Хорошо! – тихо засмеялась мать. – Все у меня есть.

– Вижу, как хорошо, – сокрушенно вздохнул Иван. – Время – двенадцать, а ты только управилась. Завтра же вставать чуть свет.

– Как же по-другому-то? Хозяйство ведь, дети, – рассудила она и прижала мою голову к груди.

– Так ведь здесь глушь собачья. Живете, как в берлоге, людей не видите. Только и знаешь работать с утра до вечера, – возмущенно заговорил Иван. – А ты еще молодая, для себя надо немного пожить, белый свет посмотреть. Ты же как в прорубь башкой в эту работу. Погляди на себя, ты же красивая женщина! А с такой жизнью через пять лет старухой станешь... Детей наплодили! Ну куда столько в твои-то годы, подумай! Они ж тебя живьем съедят, всю кровь высосут.

– На то мы и живем, Иван, – с какой-то тихой радостью проговорила мать и вдруг напряглась: – Что это ты жалеть меня вздумал? Как это – дети кровь высосут? Да я им сама кровь отдала, и нечего ее сосать.. И как это – людей не видим? Да у нас тут столь народу бывает – положить некуда! То сплавщики заедут ночевать, то покосники, а то и проезжие какие...

– Не о том же я, Валя. – «Ероя» из-за полога не было видно, но мне показалось, что он сморщился. – Хочу сказать, несчастлива ты здесь.

– С чего ж ты взял? – встрепелась мать. – Ты погляди, у меня четверо! И все вон какие, беленькие да пригоженькие! – Она еще плотнее прижала меня и поцеловала в ухо. В ухе сразу тоненько зазвенело, и мне стало так тепло и радостно.

– Да я про детей ничего не говорю, – вздохнул Иван, – я про тебя...

– А какое еще счастье бывает? – спросила мать.

– Другое бывает, – отрубил «ерой», и я услышал в его голосе что-то от команды – р-р-рот-та! – Другое, Валя. Я бы тебе его показал – век бы в эту жизнь не потянуло...

– Погоди-погоди, Иван, – вздрогнула мать. – Что это ты ночью такие разговоры затеял? Нечего шушукаться здесь. Если что-то сказать хочешь – говори днем, при всех... Тут ребенок со мной. Что он подумает?

– Он еще ничего не понимает, маленький... Полюбил я тебя, Валя, – неожиданно глухо сказал Иван. – Еще когда плясали с тобой – полюбил.

Мать как-то резко ослабла и погорячала вмиг. Пахнущая молоком грудь ожгла мне щеку, во рту пересохло... А коростели за рекой вдруг заорали пронзительно и громко, словно ждали этой маленькой паузы, чтобы наораться вдосталь.

И еще что-то забилося под щекой, заклокотало – тук-тук, тук-тук!

– Ты сдурел, Иван, – отчетливо произнесла мать. – У меня четверо детей! Что ты говоришь? Иди спать, сейчас же.

Однако «ерой» словно в атаку пошел.

– Поехали со мной, Валя, – заговорил он отрывисто. – Я тебя в город увезу, к людям. В каменном доме будешь жить, на четвертом этаже. Ты здесь всех на руках носила – там я тебя буду носить. Ну? Я тебе напыльник куплю, как картинку одену. Прямо сейчас уйдем, пока Трошки нету.

Коростелиный крик напрочь забил новую паузу. Даже щелочки не оставил...

Сколько помню мать – она всегда мечтала жить в городе. После того как Солдатовы – вечные друзья семьи – переехали в город Томск, мать с отцом ездили к ним в гости, присматриваться к городской жизни. В первый день они долго ходили по улицам, смотрели кино, катались на трамваях, толкались в магазинах и на базаре. И будто уж домишко себе приглядели где-то на Черемошниках. Дядя Саша Солдатов уговаривал – переезжайте, на работу помогу устроиться к себе. Сам он работал в колонии для несовершеннолетних преступниц, большим, по мнению матери, начальником – завхозом. Для пущей верности дядя Саша добился пропуска и повел моих родителей смотреть колонию. Около часа водил он их по зоне, огороженной высоким забором и колючей проволокой. Показал все хозяйство и даже девочку в наколках. Огромная синяя змея обвивала ее тело от левой ноги до горла. Едва железная дверь захлопнулась, выпустив экскурсантов на волю, мать облегченно вздохнула и сказала, что отрезала:

– Поехали домой, Троша!

По дороге на вокзал у пивного ларька их остановил прилично одетый гражданин (прилично – это значит в шляпе и галстуке) с бидончиком в руке и деликатно попросил:

– Граждане, прошу прощенья, пятнадцать копеек на пиво не хватает...

(С тех пор слово «гражданин» ассоциировалось у матери со словом «горожанин» и все люди для нее делились на деревенских и граждан.)

– Мы не граждане, – сказала мать прилично одетому, – вы уж извиняйте...

Этот случай окончательно разбил материну мечту. Разговоров о городской жизни хватило года на два. Как ее только не чистили, как только на ее косточках не валялись! Только дед мой Семен Тимофеевич слушал и ухмылялся молча. Он единственный из всей родни года три жил в Томске еще до революции и работал дворником в бильярдной Ветровского пассажа.

Из всего городского матери понравилась единственная вещь – белый плащ, который назывался напыльником и который дядя Саша Солдатов купил своей жене тете Вале.

– Полюбил-полюбил, – орали коростели за рекой, – полюбил-полюбил, – скрипели до звона в ушах.

Не выдержал, не снес орущей паузы Иван – «ерой». Встал на колени перед кроватью и руками уперся в пол, чтобы не опрокинуться.

– Душа у меня войной покалечена, лохмотья одни, – тяжело задышал он. – Думаешь, легко было их... резать? Ох, нелегко, Валь! Страшно! Страшно! Спать не могу, все война снится. С ножом ползу. Пожалей ты меня! Видишь, как война меня изуродовала? Ну куда мне теперь, калеке? Пулю в лоб? В петлю головой?.. И повешусь! Не пойдешь со мной – повешусь! Завтра хоронить меня будете...

– Господи... – прошелестели материны губы у меня на лбу и тут же окрепли, затвердели. – Ты думаешь, что несешь, Иван? У меня Трошка, дети у меня! Что же ты, жену себе найти не можешь? Женщину одинокую?

– Мне не надо никого! – осмелел «ерой». – Поехали! Трошка найдет себе. Он молодой еще, на фронте не был, нервная система крепкая. А ребяташек своих ему оставь. Ничего, вырастит! Вон как крепко зажил, с телки-то отцовой! Этого парнишку, солдата, можешь взять... Как сына...

Будто судорогой свело материны руки. Я аж задохнулся от боли, но мать тут же выпустила меня и, откинув край полога, ударила Ивана ногой в лицо. Иван опрокинулся, брякнув медалями.

– Ну-ка, сынок, зови тятю! – Голос матери звенел. – Буди и зови сюда! Ишь, убогим прикинулся!..

– Да тут я! – вдруг сказал дед откуда-то из темноты. – Давно уж разбуженный...

Он молча подошел к Ивану, помог ему встать на ногу, кажется, даже отряхнул ему гимнастерку на спине. «Ерой» потерял весь вид: пустая штанина галифе болталась до пола, ремень сбился, и медали на груди попереворачивались обратными сторонами.

– Уходи, Иван, – глухо сказал дед. – Сей же час уходи.

До сей поры не могу понять, отчего дед отпустил Ивана с миром.

Я немного знал его характер: не задень за живое, может и промолчать, поухмыляться, храня спокойствие, когда вокруг разгораются страсти. Но тронь – и взорвется, вспыхнет, и уж пощады не жди. Как-то раз заехал к нам новый директор леспромхоза, мужик молодой и гонористый. Заехал и с порога бухнул: дескать, все, дед, твой покос мы отбираем, поскольку луга леспромхозные и ты косишь незаконно. (Деду, как инвалиду войны, с давних пор выделили покос прямо за огородами. И бумага из военкомата имелась соответствующая.)

Этому директору хоть бы шапку снять у порога, хоть бы поздороваться для начала. Все-таки в избу зашел, не в стайку.

– По какому праву? – спокойно спросил дед, но уже закипал, уже подергивалась когда-то расхваченная медвежьими когтями губа.

– А по такому! – отрубил директор. – Своим рабочим покосов не хватает. Нечего чужих приваживать.

Развернулся и еще дверью трахнул... Деда подбросило. Как был в майке, так и выскочил на мороз.

– Бумагу-то возьми, – вслед посоветовала бабка. – Чего ты без бумаги пошел? Да оделся бы...

– Чужих? – спросил дед у директора уже на улице. – Это кто, я чужой?

– А кто же еще? – не сдавался тот. – В леспромхозе ты не рабо...

Удар был мужицкий, тяжелый. Директор рухнул в снег с головой, и из лопнувшей на морозе щеки хлынула кровь. Дед вытащил его на тропинку, повернул к кошке, в которой открыв рот сидел изумленный кучер, и дал пинка здоровой ногой. Директор сел в кошеву, и только снег завихрился вослед...

Все страшно переполошились. В памяти были свежи времена не так далекие, предвоенные... Бабка ревела, советуя немедленно бежать в тайгу и прятаться, отец уже готовил деду лыжи, а мать тихонько всхлипывала и часто повторяла:

– Тятенька, что же ты наделал-то?..

– Это кто здесь чужой? – в который раз спрашивал дед мой Семен Тимофеевич, расхаживая по избе. – Это я – чужой? На своей земле – чужой? Да я ее кровью полил – слава богу! Теперь пускай он ее поливает! Мало еще дал!.. И никуда я из дому не пойду! Не бегал и бегать не собираюсь!

Покос деду оставили, а директора на Алейке больше не видели.

Отчего же он отпустил Ивана? Ведь и губа прыгала, и кулаки, оплетенные синими венами, наготове были, и та же глухота в слове «уходи» звучала как в вопросе – чужой? А вот отпустил же! Может быть, сразу простил ему все за «еройство» на фронте, за то, что Иван на самом деле настрадался и от души его остались лохмотья? Или попросту рука не поднялась на своего брата-фронтовика?

А ведь задело его за живое! Несколько дней тучей ходил по избе, зубами скрипел и время от времени грохал кулаком по столешнице. Но думал о чем – так и осталось тайной.

Тогда же, поглядев вслед скачущему на одной ноге Ивану, дед принес из избы его протез и, подозвав меня, велел догнать «ероя» и отдать ему «дервяшку». Я догнал его почти у смолзавода. Иван остановился, качаясь, молча взял у меня протез, пристегнул и заковылял дальше, позвякивая медалями. Недавний мой кумир уходил совершенно чужим человеком, и я еще не понимал, а лишь чувствовал это. Мне хотелось крикнуть: ты куда, Иван?! – но я уже боялся его и стоял, зажав ладошкой онемевшие губы.

4

Накануне рождения двойняшек, в морозную декабрьскую ночь, окотилась овечка. С вечера и часов до трех баба Оля не спала, бегала в стайку, все ждала приплода, боясь проспать. И проспала. Дырявая, крытая картофельной ботвой стайка не держала тепла, и ягнята померзли. Бабка хватилась лишь под утро, когда мать сняла с печи квашню и начала месить хлебы. В доме поднялся переполох. Баба Оля носилась по избе, костерила отца за дырявую стайку, деда за то, что вовремя не толкнул в бок и не разбудил, попало и нам – всегда по ночам писать-какать просились, а тут спали как убитые. Не доставалось только матери. Мать ходила на сносях. Живот расперло так, что к квашне не подойти. Когда мать беременела, бабка начинала побаиваться ее. Мать становилась решительной, даже дерзкой и за словом в карман не лезла.

Отца в то время дома не было. Он уезжал в Окунеевское сельпо хлопотать казенную лошадь. Дед терпеливо слушал бабкину ругань, скрипел деревянной кроватью и равнодушно покашливал. Однако когда баба Оля раз на третий или четвертый стала упрекать его – не толкнул, черт окаянный! – дед не стерпел.

– А ну – замолчь! – отрубил он и выматерился в Христа и Богородицу. – Нашла по чем плакать – ягнята... Проспали – ну и хрен с ними!

Бабку словно выключили. Она сердито заморгала, зашвыркала носом и ушла на улицу. А мать вдруг положила мешалку и схватилась за живот:

– Что-то плохо, тятенька...

Дед вскочил с постели, прибавил огня в лампе.

– Время, поди?

– Да рано еще... – простила мать. – Медичка только через неделю назначила рожать.

– Они знают, врачи эти, – бросил дед и как был, в кальсонах, высунулся на улицу: – Старуха! Подь-ка сюды! Вальке плохо.

Мать уложили на кровать, а бабка принялась за квашню. Дед отчего-то развеселился, хромал по избе и щипал нас за бока.

– Чего насторожились-то, варнаки? – смеялся он. – Кого больше хотите? Брата иль сестренку?

– Брата, – сказал я.

– Сестренку! – сказала Алька.

– Э-э-э! – расхохотался дед. – Кто уж родится!

Боль у матери прошла. Она полежала еще немного и взялась было за квашню, но дед остановил:

– Хватит тебе. Поберегись маленько.

– Может, в Торбу тебе пойти, в больницу? – заволновалась бабка. – Как назло, и Трошки нету...

– Пожалуй, пойду, – согласилась мать, ощупывая живот. – А вдруг то первые схватки были?

Мать начала собираться. Я лежал на русской печи, подо мной гудел огонь, багрово отражаясь в окне; дед, мать и бабка, хлопотавшие внизу, тоже были красные. Казалось, весь дом заполнен огнем – и стоит открыть дверь, как он вырвется наружу и пойдет пластать по снегам и деревьям. В другой раз меня бы силком не оторвали от такого зрелища. Я мог часами смотреть в зев печи, где колыхается и скручивается пламя, испытывая страх и радость. Однако мать собиралась уходить, и боязнь расставания была сильнее, чем страх перед огнем. Когда она надела пальто и обвязалась огромной шалью, я не выдержал и соскочил с печи.

– Мать, не ходи, мать... – затянул я, готовый разреветься. – Опять долго не придешь...

– Цыть! – прикрикнул на меня дед и сразу сдобрился: – Мы с тобой клепку строгать будем. А мать твоя никуда не денется. Родит братишку тебе и придет.

Я уже знал, что все на свете обязательно рождается. Корова рождает телят, собака – щенят, рождаются поросята, ягнята и даже маленькие деревца. Я никогда не видел, как это делается, но думал, что все происходит примерно так, как с хлебом. Тесто на хлеб не похоже и кислое на вкус, а посадят его в печь, подержат – и на тебе: хлеб! Не зря же баба Оля иногда говорила: «Хоть бы бог дождичка послал, а то хлеб не уродится». После дедовых обещаний я умолк и залез на верстак. Мать уже держалась за дверную скобку.

– А дойдешь ли, Валь? – неожиданно спросил дед. – Может, и мне с тобой пойти?

– Дойду! – отмахнулась мать. – Оставайтесь тут... Помаленьку пойду. Ой, и оделась-то я! – вдруг засмеялась она. – Где упаду, так и не встану.

В руке у матери был маленький узелок с распашонками и пеленками, в которых выросла сначала Алька, потом я. Последние дни мать часто садилась за машинку и что-то строчила, подшивала, обметывала. Иногда она подзывала меня, прикидывала какую-нибудь детскую одежду и счастливо смеялась.

– Господи! А выросли-то как!

– Я еще больше выросла! – хвасталась Алька и тоже подбегала примерить распашонки.

– Ну, иди с Богом! – сказала бабка и перекрестила мать. – Трошка придет – сразу пошлю.

И через мгновение там, где стояла мать, оказалось облако пара, которое стремительно взлетело к потолку и тут же растаяло в красном жаре, исходящем от печи.

Скоро в замерзших окнах посинело. Бабка прикрыла печь заслонкой, однако в избе все равно осталась горячая краснота: видно, огонь вылетел в трубу и теперь пластал на небе. Я путался в ногах у деда и ждал, когда мы начнем строгать. Но дед словно забыл про клепку. После ухода матери он сел на верстак курить и несколько минут сидел спокойно, как всегда сгорбившись и болтая здоровой ногой. Бабка посадила хлебы, собрала на стол, однако дед выскочил на улицу и, вернувшись, начал метаться по избе.

– Ты чего, старик? – спросила баба Оля. – Садись поешь.

– А иди ты! – выматерился дед. – Ешь... Надо было с ней пойти! Куда мы ее одну отпустили?

– Дак сказала – дойдет. Веселая была...

– А не дойдет?.. – встрепнулся дед. – Вот сиди теперь и думай, где она...

– Схваток-то не было, – успокаивала бабка. – Бог даст – помаленьку придет.

Но успокоить деда оказалось невозможно. Через полчаса он уже не ходил, а скакал по избе, то и дело выбегая на улицу. Останавливался, лишь когда астма перехватывала горло и душил тяжелый, хрипящий кашель. Баба Оля помаленьку заражалась его суетливостью, и все чаще становилось слышно ее «ой-ой, господи!». Наконец она не выдержала, глянула на хлебы в печи и встала на колени перед божничкой. Мы с Алькой залезли на печь и притихли. Снизу, из-под заслонки, уже струился и расходился по избе запах горячего хлеба. Я всегда с нетерпением ждал, когда станут вынимать караваи; не дожидаясь, когда они остынут на полке, прикрытые полотенцем, нам отламывали по корочке, и мы бегали по горнице, перекидывая хлеб с ладони на ладонь...

– Господи! Владыко небесный! – молилась баба Оля. – Спаси и сохрани рабу твою Валентину и ребеночка ее в утробе...

Дед мой Семен Тимофеевич в жизни лба-то путем не крестил, ни одной молитвы наизусть не помнил, но тут встал за спиной у бабки и неожиданно посоветовал:

– Ты больше на Варвару-великомученицу молись. Сказывали, она бабам помогает...

– Уйди, – бросила баба Оля, – не суйся.

Она считала, что дед всегда смеется над ней, и терпеть не могла, когда он вмешивался или окликал во время молитвы. Дед сел на верстак и, скручивая сигарку, выглянул в верхний,

незастывший глазок окошка. Вдруг руки его дрогнули, табак просыпался, и, сползая с верстака, дед закричал:

– Идет!!!

Он скакнул к порогу, выбил руками дверь и пропал в облаке пара.

Первой вошла мать. Я хорошо запомнил ее ноги, может быть, потому, что ростом был вровень с ними. На голых коленях и икрах запеклись длинные струйки крови...

За нею, обнимая громоздкий сверток из материной шали, ввалился дед...

Мы долго ходим с братьями по торбинской дороге, по осиннику, который начинается в двух километрах от Алейки и тянется полосой до чистого бора. Полоса эта не широкая, метров восемьсот – да и то, поди, не наберется. Шелестят перезревшие, в коростах, осины, свечками тянется вверх густой молодняк, редко темнеют маты живого и мертвого пихтача. Земля здесь черная, жирная, с травой по пояс – все больше папоротник, осот да пырей, – с болотцами, мочажинками, ручейками. Вода в них темная, таежная, кажется – глубокая, но сунешь руку – едва ладонь скрывает. А дорога была и есть вечно разбитая, с колеями по колено, с гатями и многочисленными объездами.

И еще здесь особенно поют птицы. То тихо щебечут, и тогда чудится, щебечет весь лес, и земля, и трава. То кричат пронзительно и длинно, причем не перебивая друг друга, словно в театре солисты. Одна поет – все слушают. И кукушки здесь кукуют подолгу, без перерыва. Спросишь – сколько лет еще жить? – и считать устанешь...

Мы ходим с братьями-двойняшками по осиннику и ищем место, где они родились. Тимофей ищет серьезно. Идет от дерева к дереву, щупает шершавые стволы такой же шершавой рукой, смотрит под ноги, по сторонам, к чему-то прислушивается, замерев взглядом на одной точке. Мне кажется, что в такие моменты он пытается *вспомнить*. Но не вспоминает и идет дальше. Николай шагает серединой дороги, пиная грибы поганки, и от тоски посвистывает. Он уже притомился от безделья и жары, часто ложится на живот и пьет из лужиц воду, с шумом переводя дух и отфыркиваясь. Вода теплая, застоявшаяся, с личинками комаров, но совсем безвредная. Здесь давно уже все стерильно...

Двойняшки выросли разные: и ростом, и голосом, и натурой. Тимофей младше Николая на одну минуту и пониже его ростом, однако коренаст, коротконог и крепок. Поговорить, помечтать – хлебом не корми. Нагородит, случается – и наврет бескорыстно такого, что ахнешь. Одно время писал стихи: «...где глухари поют, не слыша песни». Он всех жалеет, последней рубахи не снимет, но всегда поможет. Его трудно обмануть, но легко у него украсть. Бабу Олю забрал к себе, и она, когда-то властная и своенравная, теперь только и говорит – Тимка сказал, Тимка знает... Николай же – рубаха-парень. Если уж размахнется – то обязательно бросит, в руке не зажмет. Золотые руки и бедовая голова. После скитаний по Средней Азии и неудачной женитьбы он сидел на крыльце пустой избы в Зырянке и, пьяно морщась, вдруг сказал с чужой ему определенностью и безысходностью: «Да лучше б я замерз тогда, в осиннике...»

Похожи они друг на друга только в одном: беззлобные. И жизнь постигают одинаково, все мордой об лавку...

Поиски обрывает гроза. Иссиня-черная туча налетела стремительно, закрыла полнеба, враз смолкло сольное пение, и тревожно закачались макушки осин. Мы втиснулись в Тимкин «Запорожец».

– Счас врежет, – сказал Тимка, выглядывая на улицу, – обратно толкать придется...

Разговор не склеился. Протяжно скрипели деревья, где-то ухнула старая осина, и следом, будто эхо, ударил гром. Тимка испуганно осматривается и на всякий случай сдает назад, где вплотную к дороге примыкает осиновый подросток.

– В прошлом годе за грибами ездили, – объясняет он. – Сосна упала – «жигуленка» всмятку... Хорошо, пустой был. – И смеется: – А мужик, видно, того, сдвинулся. Облапил комель и поднять хочет!

– Может, оторвемся, пока не раскисло? – лениво предлагает Колька.

Тимка смотрит на меня, но я молчу.

– Постоим, – говорит он. – После грозы еще поищем.

– Да бросьте вы, мужики! – морщится Колька. – Чего искать-то? Прошлогодний снег? Да и зачем искать?

Я молчу, потому что не знаю зачем. Меня давно тянет к этому месту. Хочу представить, как все это было, и не могу. Как в тридцатиградусный мороз мать лежала на снегу и принимала у себя роды.

Я не знаю зачем, но мне кажется, если я увижу это место, то смогу проникнуть в тайну рождения и бытия. Мне нужны живые свидетели, и не обязательно люди. Людей в тот момент на дороге не оказалось. Но рядом были деревья, была земля, которая все помнит, потому что на нее пролилась кровь.

Из рассказов матери (она не любила вспоминать об этом) я знаю, что Колька родился молча. Хватанул ртом морозного воздуха, задышал, заворочался, но не заревел. И тогда закричала мать: она понимала, что означают схватки после рождения первого. Тимка тоже родился молча, с обвитой вокруг шеи пуповиной. Его пришлось шлепать, трясти, разжимать стиснутый ротик, чтобы дать ему первый глоток воздуха. И когда в морозном лесу зазвенел детский крик, заплакали все вместе, втроем. Потом она закутала двойняшек в пеленки, взятые на одного, в платье, кофту и шаль, прижала сверток к груди, запахнула на груди пальто и побежала...

А еще успела разглядеть, что оба мальчики, что не похожи друг на друга, и смогла запомнить, кто первый и кто второй.

Не один год меня мучает вопрос: что за великая сила помогла ей вынести все это, стерпеть, выжить? Ответ знаю давно – сила материнства. В ней тайна рождения и тайна бытия. Но ответ слишком абстрактный, слишком расплывчатый, да и потерялся уже от частого употребления, как золотая монета: не понять, где орел и где решка. Было бы просто, если все свалить на инстинкт. Он движет медведицей, защищающей детеныша, он гонит утку под выстрел и горбушу на икромет. Но у человека все соткано, сопряжено – инстинкт и разум.

Я ходил за ответом в роддом. Пробился всеми правдами и неправдами в святая святых – родильный зал. Видел мучения и ошеломительный момент явления новой жизни, слышал безумные крики от боли и проклятия. Я искал матерей, бросивших детей в роддомах и отклавшихся от материнства. Находил, пытался разговорить, узнать, что же двигало ими? Встречались всякие: одни убивались и каялись, вздрагивали от детского крика и всю жизнь искали в каждом встречном ребенке своего, другие вспоминали своих детей, как вспоминают об отрезанной когда-то косе...

Ответа нет до сих пор, да и вряд ли когда найду. Только знаю, что моей матери ее материнская сила даром не досталась и даром не прошла. Аукнулось спустя несколько лет болезнью неожиданной и несвязуемой с материнством – базедовой болезнью, которая и положила ее на операционный стол...

И знаю еще, что материнская сила беспредельна, но человеческая всегда имеет предел прочности.

...Гром кувырчался в поднебесье, ветер ломал кроны деревьев и зорил птичьи гнезда. Однако едва хлынул дождь, как стало тихо и покойно. Лишь однотонное шуршание ливня и звонкий трепет листьев.

– А ну вас! – вдруг сказал Колька и, выворачивая рукава, содрал с себя рубаху, потом штаны. – Я пойду испупнусь.

Он выскочил под дождь, заорал что-то, засмеялся, разбрызгивая грязь босыми ногами. Через минуту Тимка не выдержал, разделся и, подрагивая белым, незагоревшим телом, боязливо полез из машины. Колька мазнул его грязными руками, они схлестнулись, сцепились и скоро уже катались в теплой луже под громкий рев и хохот...

Хорошо помню суматоху. Дед призывал не суетиться, но сам кричал и суетился больше бабки. Мать уложили на постель, накрыли одеялом, сверху привалили тулупом, однако ее так трясло, что качалась и скрипела кровать. Двойняшек с неотрезанными пуповинами затащили на печь. Они исходили криком, отчего мать, стуча зубами и вытягивая руки, беспрерывно просила:

– Детей, детей сначала, детей...

– Счас, Валь, счас, миленькая, – приговаривал дед, засовывая в печь ковш с водкой. – Дети ничего... Коль живых донесла – ничего...

Баба Оля, отпихивая деда, тащила ухватом чугунок с водой и повторяла на одном дыхании: «Господи, спаси, Господи...»

Горячая водка не помогла. Мать по-прежнему лихорадило, с обкусанных губ смазывалась кровь. Дети на печи то утихали, заставляя волноваться мать еще больше, то заливались громко и дружно. Мы с Алькой сидели в «конуре» – запечье с лежанкой – и, вцепившись друг в друга, дрожали от страха.

– Видно, крови много потеряла, – бормотал дед, – оно всегда трясет, когда потеряешь...

– Это горячка, – не соглашалась баба Оля. – Бывает после родов-то, бывает. Да и промерзла, видно...

– Пупки, пупки завяжите... – стонала мать. – Мама, тятенька, пупки...

Двойняшек сняли с печи и положили на стол. Дед пометался по избе, достал с полки несмоленую дратву и, выдернув нитку, приступил к столу.

– Оттягивай! – закричал он на бабку. – Оттягивай – вязать буду!

Бабка оттягивала пупки, а дед вязал, откусывая зубами нитку. Потом он схватил ножницы, облил их водкой из бутылки и отстриг пуповины.

– Эх, туды-т твою!.. – матерился он удивленно. – Вот уж не думал – пупы резать!

Баба Оля остудила кипяток снегом и взялась купать. Двойняшки мгновенно умолкли, и в избе стало тихо. Мать попросила воды, но напиться не могла: стучали зубы, судорогой сводило гортань.

– Голову мне держи, тятенька, – попросила она, – держи и лей. Сколь попадет...

– Эх, чем бы тебя согреть-то? – стонал дед. – Может, на печь переложить? Старуха! Давай-ка на печь Вальку! Подсоби!

– погоди, тятенька, – сквозь зубы попросила мать. – Парнишек уберете – тогда... Купайте, молоко прибывает.

Дед ринулся было помогать бабе Оле, однако вдруг схватил лопату и, откинув заслонку, начал метать хлебы из печи прямо на пол.

– Одурел ты, что ли? – охнула бабка. – Лучше вот дите подержи!

– Счас согрею! – радостно закричал дед. – Счас тепла нагоню!

Он скинул с матери тулуп и одеяло и, с остервенением разрывая горячие караваи, стал обкладывать ее хлебом. Обложил грудь, ноги, бока, засунул под спину и снова укрыл.

– Печет? – спросил дед.

– Тепло... – проронила мать и мгновенно уснула.

Однако спать ей пришлось недолго. Очищенные и выкупанные двойняшки – едва их вынули из лохани – заревели требовательно и в голос. Мать вздрогнула, зашевелилась. Грудь распирало резко прибывшее молоко...

Когда мои еще безымянные братья присосались к груди, я тихонько выбрался из «конуры», подполз на четвереньках к месту, где недавно лежали горячие хлебы, и стал собирать хрустящие крошки от корок.

– Напополам, – предупредила шепотом Алька.

– Серенька, – тихо окликнула мать и поманила рукой.

Я боязливо подошел к кровати. Близняшки старались вовсю, – однако сосать еще не научились, и молочко сочилось по их игрушечным подбородкам. Мать вынула из-под одеяла разваленную повдоль буханку, оторвала корку – самую вкусную, верхнюю – и подала мне.

Корочка была теплая и пахла молоком, запах которого я еще не забыл...

5

Стоять бы Торбе и поныне: лесов вокруг было – за полвека не выбрать. Лесоучасток валил пока зрелые сосновые боры, те, что поближе, главный же запас оставался в глубине материка и звался чернолесьем. Говорят, пихтачи и ельники были такие: на вершину глянешь – шапка валится, а кедры едва вчетвером обхватишь. Да свалилась беда на торбинские леса. Откуда-то налетел сибирский шелкопряд и в одно лето свел начисто все чернолесье. Гусениц шелкопряда посыпали с самолетов дустом, обливали каким-то раствором, однако зеленый пожар бушевал до зимы. От опыления в тайге подохло все живое, кроме шелкопряда. Рассказывают, как огромный кедр за считанные часы оставался без одной хвоинки, земля под деревьями шевелилась от гусениц, а сапоги, если в ту пору случалось ходить по лесу, были по щиколотку забрызганы зеленой дрянью.

Чернолесье стали звать шелкопрядником. Мертвый лес, куда и птица не залетала, зверь не захаживал, тянулся на десятки километров и пылал каждый год с весны до осени. Торба, как деревенский погорелец, пошла по миру с протянутой рукой, где сосновую гривку сшибут, где осинником – деревом худым, для сплава негодным – утешатся. Настало время, когда нищета погнала лесорубов за Четь, где оставались еще перезревшие, одиноко стоящие сосны, крепкие снаружи и полые внутри. Так до самого своего конца и перебивалась Торба дровяником.

Моста через Четь не строили, а каждый год с осени наводили ледовый переход. Едва река замерзала, на Алейку привозили мотопомпу, ставили ее возле берега и намораживали дорогу. Из-за молевого сплава лесу много тонуло, а поэтому лед на Чети становился гнилой, хлипкий, иногда среди зимы промывало полыньи, так что поливать и морозить переправу приходилось до самой весны.

Заправляла этим делом торбинская Параня. Жила она рядом с дядей Сашей Русиновым, в домике неказистом, кривобоком, выходящем на улицу не передом, как все дома, а углом, причем угол этот выпирал из общего ряда метра на два. И получалось, что все четыре Параниных окошка, расположенные в разных стенах, смотрят на улицу. Если считать богатство по старинному, по количеству окон, выходящих «на люди», то Параня жила состоятельнее всех. (Теперь не могу вспомнить ни одной избы в Торбе с четырьмя окнами на улицу.) Из Параниной избы можно было видеть сразу полдеревни, однако при этом полдеревни могли видеть все, что есть внутри ее домика.

А ничего особенного там не было. Печь, кровать, стол и отгороженный в углу курятник, где Параня держала зимой все свое хозяйство. И был еще голубой, окованный узорным железом сундук с музыкальным замком, который играл так, что слышно на улице.

Когда в Торбе случалась гулянка и подвыпившие ватаги ходили по поселку с музыкой и песнями, то возле Параниной избы обязательно запевали:

Ах, Паранюшка, Параня,
Ты за что любишь Ивана?
– Я за то люблю Ивана,
Что бородушка кучерява...

Не было у нее Ивана, и вообще никого. Откуда она появилась со своим музыкальным сундуком, толком никто не знал. Лет ей было под тридцать. То ли с ее слов, то ли по догадкам, рассказывали, будто в юности Параня была красавицей и ее чуть-чуть не украл какой-то заезжий фотограф. Будто обманом посадил в кошевку и повез. Мужики в деревне хватились, догнали верхами, отобрали Параню, а фотографа избили так, что тот чах, чах и скоро умер. Говорили, будто в войну Параня осталась сиротой и досталось ей хлебнуть горя. Кроме лебеды

и крапивы да иногда пареной брюквы, ничего не видела. От этого привязалась к ней какая-то болезнь и за год чуть живьем не съела. Параня и так была не высока ростом, а тут еще ссутулилась, ноги стали кривые и руки-крюки: все пальцы врасстопырку и едва шевелятся. После войны кое-как пришла в себя и начала толстеть. Одним словом, в Торбе она появилась таким обрубьем на кривых ножках и, за что бы ни взялась, из-за своих неуклюжих рук ничего у нее не выходило. Однако намораживать дорогу через Четь особой сноровки не требовалось, и Параня каждый год появлялась у нас на Алейке от ледостава до ледохода. Утром мужики заведут ей мотопомпу, а она только следит, чтобы водозаборник не замерз, да пожарную кишку с места на место раза три в день перетасчит.

На льду Чети ни вагончика, ни какого-нибудь закутка не было, поэтому Параня раз пять на день приходила к нам греться. Перевалятся через порог, сядет у двери и шагу больше не ступит. Пимы у нее обледенелые, полушубок как жесть гремит, и руки в рукавицах так иззябнут, что пальцы и вовсе не сгибаются. Минут через десять она оттаивала, начинала шевелиться, затем заскорузлым движением стягивала шаль на затылок и осматривалась с таким видом, словно хотела сказать – Господи, куда же я попала? Глаза ее тоже будто оттаивали, становились печальными. Параня часто-часто мигала, и мне всегда казалось, что она сейчас расплечется.

Мать, если была дома, принимала ее ласково, все уговаривала раздеться, сесть поближе к печи, а то принималась кормить. Однако Параня каждый раз отказывалась, и не то чтобы стеснялась или была сыта. Я замечал, как она с аппетитом смотрит на тарелку супа, которую мать наливала для нее и ставила на пол, видел, как она тянет руки к печи, и все-таки Параня доставала из своей кирзовой сумки полузамерзший хлеб, сало или чесночную колбасу, бутылку с молоком или чаем, пристраивала все это на коленях и начинала есть.

– Дай я хоть молоко-то тебе погрею? – просила мать. – Или хлебушка свежего возьми, нынче только пекли...

От материнной суеты и хлопот ожившие Паранины глаза вдруг начинали сердито посверкивать. Параня молчком съедала свой припас, совала пустую бутылку в сумку и, перевалившись через порог, хлопала дверью. Мать выливали нетронутый суп обратно в чугунок, вытирала лужу, натекшую с Параниных пимов, и, стоя у окошка, подолгу смотрела ей вслед.

– Раз человек не желает, ты ей больше не наливай, – ворчала баба Ольга. – Что наваливать-то, раз не желает? Может, брезгует. И чего брезговать? Мы в чистоте живем...

Потом нас, ребятишек, при появлении Парани стали загонять на печь с наказом сидеть тихо и не высовываться. Обычно мы толклись у кухонных дверей либо на кухне и тарасились на Параню, как всегда тарасились на любого чужого человека.

– Ребятишки, вон Параня идет! – говорила мать, и это была команда лезть на печку. Мы послушно забирались на печь и, если удавалось, целых полчаса сидели тихо, выглядывая в щелки между задергушек. Без нас Параня чуть смелела, иногда коротко и односложно разговаривала с матерью, но при этом все равно будто сердилась на нее. Однажды я услышал брошенную ею фразу:

– Не замерзла бы, так и не зашла б...

Мать при ней выглядела виноватой. Как-то раз, в момент веселого настроения, я ни с того ни с сего запел, сидя на печи:

Ах, Паранюшка, Параня,
Ты за что любишь Ивана?

Колька с Тимкой, тогда еще совсем маленькие, немедленно подхватили:

Ах, Паланюска, Паланя,
Ты за сто любис Ивана?

Параня вздрогнула, растерянно осмотрелась и вдруг, кое-как побросав недоеденный припас в сумку и не повязав шали, выскочила на улицу. Мать моя, Валентина, редко когда была в гневе. Сейчас и вспомнить не могу подобного случая. Но в тот раз она стащила меня с печи, нашлапала и загнала под кровать. Попало и двойняшкам. Параня в тот день к нам больше не пришла, хотя на улице был мороз и машина, возившая рабочих, долго не приходила. А мать до вечера ходила по избе рассерженная: в ее руках все гремело, стучало, иногда что-нибудь падало или рассыпалось. Несколько раз она заглядывала ко мне под кровать и спрашивала:

– Сидишь? Ну вот сиди, сиди, да подумай хорошенько.

Тогда я вовсе ни о чем не думал. Я считал себя наказанным несправедливо и пел про себя:

Ах, Паранюшка, Параня,
Ты за что любишь Ивана?

Дело в том, что у меня были свои счеты с Параней. Наша семья – дед с бабкой, отец с матерью были умелыми, работающими. За что ни возьмутся – все в руках горит. Дед столярничал, бондарничал, катал валенки, выделял кожу, отец не хуже его и сапоги шить умел, и пимокатничать, и плотничать. Мать ткала полотенца, вышивала, вязала кружева. Работать в семье любили, причем толково, со вкусом и жадностью. Нас учили тому же, и если у меня или у Альки что-то получалось плохо, неумело, отец говорил: «Ну и руки у тебя – как у Парани!» Или: «У Парани и то лучше получается!»

Иногда по вечерам, когда отец приходил с охоты и приносил добычу, на него нападало благодушие. Все сидели за каким-нибудь рукоделием, и отец начинал шутить. Надо сказать, делал он это умело: рассказывал анекдоты, смешные случаи либо разыгрывал нас или мать. Причем его розыгрыш всегда можно было принять за правду, и только в самом конце, перед тем как лечь спать, он вдруг переворачивал все с ног на голову, и тогда все понимали, что отец шутит, и всем было смешно. Так вот, с появлением Парани на Чети отец заявил, что будет сватать ее за меня. Как только я вырасту, он высватает Параню, привезет на Алейку и поселит нас в старой избе. Корову он, конечно, тоже даст (ну, не корову, телку), но доить ее придется мне, поскольку Параня не сможет. Я же буду стричь овец, варить, стирать, пряхсть – одним словом, делать всю женскую работу. Как всегда, он говорил серьезно, и я отчаянно сопротивлялся.

– Не хочу Параню! – со слезами кричал я и чувствовал безысходность. – Я ее убью!

Это, видимо, забавляло отца, и он чуть ли не каждый вечер заводил разговор про сватовство. Похоже, матери он надоел, и она, когда я вот-вот готов был разреветься, замечала отцу: дескать, хватит тебе, Трофим, что ты к нему пристал?

– А что? И сосватаем! – смеялся отец. – Невеста-то – первый сорт!

Я помаленьку привыкал к мысли, что меня женят на Паране, что жить мне с ней всю жизнь в старой избе, доить корову, варить и стирать, и незаметно для себя стал поглядывать с печи на Параню как на свою невесту. Мне страшно не хотелось жениться на ней, но в какой-то момент – я даже и не заметил в какой – во мне будто струна лопнула. Я еще сопротивлялся, но уже был готов взять Параню. Отец же все подыгрывал.

– Серега, невеста идет! – говорил он, выглядывая в окошко. – Ну-ка, рубаху заправь и сопли вытри.

Я заправлялся, вытирал нос и прятался на печи.

Или когда к нам заезжали знакомые и разговор заходил обо мне («Какой большой вырос! Мужик уже!»), отец обязательно заявлял:

– Мы уж ему невесту присмотрели! Параню!

Взрослые смеялись, и это было обиднее всего. Между тем моя «невеста» продолжала ходить к нам греться, и порой я ловил на себе ее взгляды. Смотрела она как-то странно, словно хотела подозвать к себе, дать кусочек своего хлебца или чесночной колбасы и погладить по голове. Я думал, что она знает о будущем сватовстве, поэтому так и смотрит. И тогда мне казалось, что ее полумерзлый хлеб и пахучая колбаска очень вкусные, потому что Параня ела с удовольствием, подолгу разжевывая и облизывая свои короткие, негнувшиеся пальцы. Однако на свою будущую «свекровку» она глядела по-прежнему сердито и разговаривала неохотно. Однажды мать, глядя на ее обледеневшие пимы, достала из кладовки старые калоши и предложила надеть их на валенки. Все-таки не так промокать будут.

– Обойдуся, – сказала Параня. – Не сахарная, не растаю.

Когда отец начал свой розыгрыш-шутку, я старался обходить стороной дорогу через Четь, если случалось проходить мимо на лыжах (я всю охотился, и весь окрестный лес на Алейке был опутан моими петлями на зайцев). Издалека я замечал коротенькую фигурку Парани, отворачивался и, стараясь не глядеть в ее сторону, бежал мимо. Но чем дольше продолжался розыгрыш, тем сильнее меня тянуло к ледовой переправе. Хотелось где-нибудь спрятаться и незаметным наблюдением за «невестой». Кроме нее на льду стояла и тархтела мотопомпа – техника в наших местах редкая и оттого интересная. Я забирался в прибрежный тальник и, сдерживая дыхание, смотрел на Параню. Взяв пожарную кишку в охапку и прижимая ее к груди, Параня перетягивала ее вдоль дороги, обливая водой проезжую часть, потом отбрасывала клокочущий, обледеневший шланг в сторону и ждала, когда схватится ледок. А в ожидании она собирала на обочине дороги и берегах щепочки, сучки, хворостинки и кидала все это в замерзающую воду. Наверное, для того, чтобы крепче была дорога.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.